

ВИКТОР
БЫЧКОВ

ВИШЕНКИ В ОГНЕ



СИБИРСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

Виктор Бычков

Вишенки в огне

«Accent Graphics communications»

2012

Бычков В. Н.

Вишенки в огне / В. Н. Бычков — «Accent Graphics communications», 2012

Где, как не в трагические для страны дни проверяются настоящие человеческие качества, патриотизм, мужество и героизм? Обиженные советской властью, главные герои романа «Вишенки в огне» остались преданы своей Родине, своей деревеньке в тяжёлые годы Великой Отечественной войны. Роман «Вишенки в огне» является заключительным в трилогии с романами «Везунчик», «Вишенки». Объединен с ними одними героями, местом действия. Это ещё один взгляд на события в истории нашей страны. Роман о героизме, мужестве, чести, крепкой мужской дружбе, о любви...

© Бычков В. Н., 2012

© Accent Graphics
communications, 2012

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	19
Глава третья	35
Глава четвёртая	50
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Виктор Бычков

Вишенки в огне

*Светлой памяти мамы моей Бычковой Ольги Григорьевны,
познавшей войну не понаслышке, посвящаю...*

Глава первая

Первая бомба упала рядом с палаточным городком. Младшего сержанта Кольцова взрывной волной сбросило с дощатого настила, что использовался в качестве койки. Палатка вспыхнула огнём и тут же упала на голову. Кузьма заметался, задыхаясь. Очередная бомба взорвалась где-то у танкового парка, сорвала объётое пламенем полотнище, сдвинула немного в сторону, открыв доступ к свежему воздуху. Однако за это короткое мгновение успела обжечь огнём лицо, руки, подпалить исподнее бельё на нём.

– А – а – а – а! – дико заорал от боли.

Вскочил и снова упал, закрутился, заскользил по прохладной утренней, влажной от росы почве, пытаясь сбить, погасить тлеющее бельё, унять, снять, затоптать и растереть о землю неимоверную боль от ожогов.

То ли и вправду удалось, то ли последующие бомбовые удары, вой заходящих на цель бомбардировщиков сняли боль физическую, заменив её страхом, ужасом, которые на некоторое время парализовали и сознание, и тело. Но замешательство длилось недолго, и младший сержант остановился вдруг, замер, уставился на объятый пламенем парк боевой техники.

Огромные клубы чёрного дыма от горящих машин рвались вверх, закрыли небосвод, страшной, тёмной тенью окутали танковый полигон, стлались по – над землёй, смещались куда-то за лес, навстречу встающему солнцу. Самолётный рёв бил по нервам, заставлял дрожать все внутренности противной дрожью, пытался парализовать волю, вызывал панику. Командир танкового экипажа младший сержант Кольцов еле-еле, из последних сил сдерживал себя, чтобы не поддаться ей, не запаниковать, не броситься, очертя голову, куда глаза глядят, хотя в первое мгновение такое желание было.

Только вчера они в составе роты прибыли на этот полигон, сменили курсантов другого подразделения, и вдруг такое...

Кузьма крутил головой, вращал расширенными от страха глазами, пытаясь увидеть сослуживцев: инстинкт солдата уже звал к товарищам, к оружию. Дикий, животный страх человека за собственную жизнь постепенно силой воли оттеснялся на второй план, уступая место осознанию себя мужчиной, солдатом, бойцом, командиром. Военский устав обязывал к активному действию, к защите, к обороне, к отражению атаки противника. И он взял верх, победил.

Обожжёнными руками нащупал обмундирование, в спешке натянул на себя, сунул босые ноги в ботинки, обмотки даже не стал наматывать, затолкал в карман.

Рядом копошился, матерясь, стрелок-радист Павлик Назаров. Механик-водитель Андрей Суздалыдев уже стоял одетым, поминутно приседая при каждом новом взрыве.

– Братцы, это война! Так учения не проводят, клянусь!

Наводчик Федор Кирюшин, которого в экипаже все называли Кирюшей, сидел на земле в исподнем белье, смотрел безумными глазами на происходящее, вжав голову в плечи, обхватив её руками.

– Господи, спаси и помилуй! Господи, спаси и помилуй!

– В машину! В машину согласно боевому расчёту! – Кузьма уже оделся, был готов бежать в горящий танковый парк к танку КВ-1, но задерживал наводчик, который продолжал в растерянности и страхе твердить, как заведённый:

– Господи! Господи! Конец света! Спаси и помилуй, Господи!

– В машину! К маши-и – не – е! Креста душу мать! К машине! – ухватил подчинённого за шиворот, с силой оторвал от земли. – Вперёд, к машине!

И уже стрелку-радисту:

– Назаров! Заряжающего Ивлева Володьку разыщи и с ним в парк! Он дневалил у грибка. Однако Кирюшин снова мешком осел на землю, не уставая повторять:

– Господи! Спаси и помилуй мя, грешного, Господи!

– Твою гробину мать! – опять заматерился Кольцов. – Встать! К машине! Убью, сволочь! – но, видя, что и это не помогает, позвал на помощь Андрея. – Суздальцев! Помоги!

Механик-водитель тут же подбежал к командиру и сразу всё понял.

Не раздумывая, с ходу залепил оплеуху наводчику, подхватил того под руку, стал поднимать с земли.

– Клинь клином, командир, клинь клином! Это от страха, это пройдёт, – успел предупредить очевидный недоуменный вопрос командира. – Кирюша, Кирюшка, вперёд, вперёд, браток!

И правда, Кирюшин как очнулся вдруг, ожил, смятение и растерянность на лице сменились осмысленным выражением: вскочил, скомкал обмундирование, прижал к груди, кинулся за товарищами в исподнем белье. В последний момент вспомнил о ботинках, вернулся обратно, подхватил с земли, бросился вдогонку.

Уже на выходе из палаточного городка, у грибка, где должен находиться дневальный, наткнулись на стрелка-радиста Павла Назарова. Стоя на коленях, тот тормозил лежащего на отсыпанной речным песком дорожке заряжающего из их экипажа Володьку Ивлева.

– Команди-и – ир, Кузьма-а – а, ребята-а – а, – дрожащим голосом произнёс Павлик. – Командир, Вовка, Вовка-то мёртв, команди-и – ир. Как это? За что-о – о, командир?

Мокрые глаза стрелка-радиста, в которых отражались всполохи пожара, смотрели на Кольцова снизу, искали ответ не только на смерть товарища, но и на весь тот ужас, что творился, происходил вокруг. Рядом лежало тело рядового Ивлева с разmozжённой осколком бомбы головой.

– Встать! К машине! – рявкнул командир танка.

В Кузьме сейчас уже сидел и всецело руководил им младший сержант, младший командир Красной армии, в задачу которого входило вывести свой танк из – под обстрела из горящего парка в район сосредоточения, куда обязан прибыть по боевому расчёту на случай тревоги. А собственная боль, жалость по погибшему товарищу – это потом, потом, когда утихнет бой, а сейчас – вперёд, к машине!

– Вперёд, Паша, вперед, это потом, потом плакать будем!

Парк горел, горели топливозаправщики, легкие танки Т-28, которые использовались в качестве учебных машин, танкетки, несколько тяжёлых танков тоже извергали в небо тёмные клубы дыма, изредка выплёскивая из металлического чрева яркие языки пламени, сдобренные чёрной копотью.

Их КВ-1 под номером 12 стоял в первом ряду, в углу целым и невредимым. Несколько танков уже выходили из парка, удалялись в сторону леса, выстраивались у его кромки в походную колонну, сливаясь в предрассветных сумерках с зарослями. Чуть в отдалении группировались уцелевшие топливные заправщики.

Во главе колонны стоял танк командира роты капитана Паршина. Сам ротный бежал в горящем парке, подгонял, торопил подчинённых. Ему помогали командиры танковых взводов.

Оставшиеся роты танкового батальона должны были сегодня прийти своим ходом на полигон, но, по всем данным, их прибытие было под сомнением.

А самолёты улетели и на земле установилась относительная тишина. Лишь гул и треск пламени зловеще вклинивался в рокот танковых моторов.

– Рассредоточиться! Технику замаскировать! Командирам экипажей и взводов – ко мне! – по рации Кузьма получил команду от командира роты и сейчас стоял в люке, выбирал визуально место у кромки леса, куда уже пятились остальные уцелевшие танки подразделения, руководил механиком-водителем.

– Правее, правее, Андрей. Вот так, хорошо, глуши мотор. Замаскировать машину!

Командиры собрались на небольшой полянке у опушки под сенью молодых дубов, стояли, нервно курили, ждали ротного. Сам Паршин, наклонившись к люку механика-водителя командирского танка, разговаривал с кем-то по рации, от нетерпения пританцовывая, хлопая рукой по металлу. Рядом с ним, переминаясь с ноги на ногу, топтался политрук роты Замятин.

– Твою гробину мать! – капитан сорвал с головы шлемофон, направился к подчиненным. – Довоевались, грёба душу мать твою! Дождались, доигрались в кошки-мышки! Самих себя объегорили, твою мать! Во – о – о, молодцы! Приходи и бери голыми руками.

– Командир! Товарищ капитан! – политрук забежал наперед, расставил руки, преградил дорогу Паршину. – Здесь подчиненные, младшие по званию! Не забываетесь, держите себя в руках! Вы же офицер! Вы же коммунист!

– Какой держите, комиссар, какой держите?! Уже додержались, дальше некуда! Доминдальничались, гробину мать!

– Ещё ничего не ясно, а вы уже...

– Что уже? Говори, чего замолчал?

– Паникуете, товарищ капитан. Может, это ещё и не война, а провокация, а вы уже сеете панику среди подчинённых, вот так-то вот! А офицеру это не к лицу, тем более – члену партии. Я не позволю! Я обязан доложить по инстанции!

– Что-о, что ты сказал? – побледневший вдруг капитан резко ухватил за грудки политрука, притянул к себе, почти оторвал от земли. – Я? Паникую? Ты хорошо подумал, прежде чем сказать такое? – и так же резко оттолкнул от себя Замятина. – Тебе-то откуда знать, что к лицу мне? Врать офицеру не к лицу, понял, мальчишка?! Ты посмотри вокруг: какая это провокация? Горит наша техника, гибнут наши люди – это что, по – твоему, провокация? Это – страшнее, так страшно, что нам и не снилось. Ад раем покажется, твою мать, так страшно будет. Война это, грёба душу мать! А подчинённые? Что должны видеть и понимать подчинённые? Мне с ними вот здесь, вот сейчас идти в бой, понял, бумажная твоя душа?! Они уже гибнут, а что ещё будет – я даже предсказать не могу. Тут сам Господь Бог не предскажет, не то, что я – простой смертный. Что я скрывать от подчинённых должен?

Что врать им, что обманывать их и себя? Чего обманывать людей, которые через мгновение будут смотреть и уже смотрят смерти в глаза?! Я говорю правду! А она страшная, горькая, но она – правда! Война это, вой-на – а! А мы не готовы, комиссар. Разве это не так? Так, и не спорь, – Паршин вроде как немного успокоился, взял себя в руки. – А сейчас беги, сверь по списку личный состав роты и составь рапорт о потерях. Учить меня он будет, мальчишка... И докладывать вы можете... умеете... это я знаю, – произнёс это уже быстрее для себя, чем для подчинённых, которые стояли молча, смотрели и слушали перебранку капитана и политрука, нервно теребили в руках шлемы.

Командиры взводов и командиры танковых экипажей выстроились в шеренгу, ждали указаний командира роты.

Кузьма только теперь начал полностью осознавать ту страшную трагедию, что разворачивалась на его глазах. Это – война! До этого момента действовал автоматически, выполнял свои обязанности благодаря вбитым, приобретённым во время службы на тренировках, занятиях навыкам. А вот здесь, в строю на опушке леса приходило осмысление, осознание. Прочувствовал всей душой, всем сердцем, умом своим понял и осознал – это война...

С первого дня его пребывания в армии об этом говорили, готовились к ней, но делалось как-то через силу, а в голос, открыто не называли, как будто стеснялись или боялись вспугнуть. Даже в курилках, в доверительных беседах с сослуживцами старались обходить эту тему. Понимали, что будет, рано или поздно, но им придётся воевать, однако в голос, в открытую сказать – ни – ни! И вот она пришла, свалилась на головы немецкими бомбардировщиками в буквальном смысле слова совершенно неожиданно. Об этом как раз и говорил командир роты капитан Паршин Николай Николаевич.

– Война, товарищи офицеры и сержанты. Вой-на – а – а! Только что был на связи с командиром батальона майором Коноваловым. И поведал он мне страшную новость: фашисты на рассвете прорвали нашу границу на всей её протяжённости, идут в глубь страны; наш танковый батальон на марше полностью выведен из строя немецкой авиацией. А те машины, что уцелели, стоят без топлива: заправщики разбиты, сожжены; боекомплект, что доставляли тыловики вместе с танковой колонной, взлетел на воздух. Всё! Конец! Был танковый батальон да весь вышел. Остались лишь металлические коробки, не способные ни стрелять, ни ехать. Утюги остались, а не боевая техника. Груда совершенно никому ненужного металла. Вот так, скрывать мне от вас нечего, товарищи командиры. Личный состав батальона, который уцелел во время утренней бомбёжки, по словам комбата, будет выходить пешим строем на исходный рубеж – деревня Мишино. Там и встретимся.

И замолчал, стоял, низко опустив голову. Потом вдруг вздрогнул, как очнулся, обвёл подчинённых с холодным блеском глазами, снова заговорил.

– Комбат сказал, что одна машина с боеприпасами вроде прорвалась из – под бомбёжки, ушла в нашу сторону. А там снаряды для КВ и патроны для танковых пулемётов. У нас, стыдно сказать, ни единого патрона, ни единого снаряда. Даже личного оружия нет. С чем идти на врага? Со всей танковой роты осталось шесть танков КВ да одна танкетка. Всё! Всё-о – о – о! Два топливозаправщика целы, а что толку, если они пусты как барабаны? И в танковых топливных баках соляры с гулькин нос, вот и воюй, сучий потрох, как хочешь.

Паршин на мгновение прервался, прислушался к июньскому утру: тихо. Лишь слышны были команды политрука роты где-то в районе танкового парка, да засвистела какая-то пичужка здесь, на опушке молодой дубравы. Подчинённые застыли, смотрели на стоящего перед ними ротного, ждали.

– Но, товарищи, это не повод отчаиваться. Мы с вами призваны защищать Родину, и мы её будем защищать! Чего бы это не стоило! У нас ещё остаётся время для манёвра и возможность для действий. В любом случае сорок три тонны железа вряд ли выдержит какая-либо гитлеровская техника, о личном составе врага я уже не говорю. А топливо мы достанем, обвязаны достать. А уж тогда-а, держись, сучий враг! Мы ещё повоюем!

При этих словах подчинённые как будто ожили, зашевелились, обречённость в глазах сменилась надеждой.

– Мой заместитель лейтенант Шкодин! – обратился к стоящему на левом фланге молодому офицеру в общевойсковой форме. – Тебе необходимо из оставшихся без машин людей сформировать резерв командира роты. Будете находиться всегда рядом со мной, чтобы в любой момент могли выполнить то или иное задание, что будет диктовать обстановка. Сам и возглавишь, Сергей Сергеевич, понятно?

– Так точно, товарищ капитан. Разрешите вопрос.

– Да, слушаю.

– Простите, а оружие? Где взять оружие? Если придётся воевать, то как быть, как воевать без оружия? Где взять, где вооружиться?

– В бою, лейтенант, в бою вооружаться будем! Или тебя не учили в училище? Руками голыми для начала душить будешь, зубами грызть. Понятно, лейтенант? Умеешь? Вот там и

оружие достанешь, если сумеешь врага задушить. Другим способом он тебе винтовку не отдаст. И я других способов не знаю в данный момент, не могу тебе подсказать при всём желании.

– Учили, товарищ командир, но этому не учили.

– Ну и грош цена такой учёбе. Сейчас война переучивать будет, да так, что будь готов к страшной науке, все будьте готовы. Оценка одна в этой школе – жизнь! Никто никому разжёвывать ничего не станет, а будем драться, и учиться драться будем заодно. Ясно? Сейчас нас противник учить будет, жестоко учить будет, кровью умываться будем от науки той. Но, ничего-о! Русский над прусаком всегда верх брал, даст Бог, и на этот раз умоем немчуру их же кровушкой, отучим воевать бесовское племя.

Подчинённые жадно ловили каждое слово, каждый жест командира, слушали, крепко стиснув зубы и сжав кулаки.

– В любом случае мы обязаны выдвинуться на исходный рубеж по прикрытию шоссе Гродно – Минск в районе деревни Мишино. Это – наш рубеж обороны. Даже если из нашего подразделения останется один танк, один человек, мы обязаны, я повторяю, обязаны выдвинуться туда, ползком доползти, но остановить продвижение противника на нашем рубеже. За нас это никто не сделает, только мы! На нас надеются в штабах, надеется вся страна. Подводить мы не имеем права.

На поиск автомашины с боеприпасами отправили экипаж младшего сержанта Кольцова. С ними вместе выдвинулись и уцелевшие два топливозаправщика в надежде на заправку в ближайшей нефтебазе районного городка, что расположился в десяти километрах от танкового полигона.

Место погибшего заряжающего Володьки Ивлева занял Агафон Куцый из экипажа саженого КВ-1 с бортовым номером девять.

– Вот же Бог дал имя и фамилию, – не преминул заметить друг погибшего Павлик Назаров. – Хорошие люди гибнут, а Афоньки Куцые живут.

– Ты, это, парень, попридержи язык-то, – не стал отмалчиваться новичок. – Я не посмотрю, что ты из другого экипажа. Так по сопатке настучу, что мало не покажется. А пуля – она не станет выбирать, Куцый я или ты языкастый и безмозглый.

Чуть выше среднего роста, коренастый, белобрысый, с длинными руками, широкими рабочими ладонями-лопатами, своим внешним видом он и на самом деле вызывал уважение пышущей, явно выраженной силой.

– В бою посмотрим, кто из нас кто, – насупившись, солдат стоял перед новыми товарищами, с вызовом, смело глядя им в глаза. – Я, может, тоже не в особом восторге от тебя, однако, молчу. А Вовку и я знал хорошо. Так что...

– Ладно, – примирительно заметил Кузьма. – Дело покажет, кто из нас кто. А сейчас в машину, по местам!

Кольцов сидел на краю люка, свесив ноги, внимательно всматривался на дорогу, что вела к районному центру. Если тыловики и будут ехать на полигон, то другого пути, другой дороги, кроме этой, для них нет. Позади, поднимая облако пыли, катились два пустых топливозаправщика. С ними тоже ещё морока: помимо поиска машины, надо было, кровь из носа, найти дизельное топливо для танков. Без топлива ротный приказал не возвращаться.

– Ты, Кузьма Данилович, в этом деле дока. Прощупай нефтебазу, я знаю, она там у них была, это информация точная. Мы оттуда должны были заправляться. Найдёшь, я на тебя надеюсь. Они обязаны снабжать нас топливом на полигоне. Сам понимаешь, без него мы ничто. Но и два танка отправлять на поиск – лишняя трата топлива. Понимать должен. Если вдруг заартачится кто, так от моего имени потребуй. Мол, военное время, то да сё...

С первого дня пребывания в Красной армии к Кузьме обращались чаще всего по имени-отчеству, изредка – по званию. Сам Кольцов относился и относится к этому спокойно, как к должному. Всё-таки, и кандидат в члены ВКП (б), и бригадир тракторной бригады в колхозе до

службы – это всё же что-то да значит. И здесь, в танковой роте, он пользовался непререкаемым авторитетом среди сослуживцев. Притом, не только в кругу солдат, сержантов, но и среди офицеров. Не по годам рассудительный, спокойный, грамотный в своём деле специалист, успевший до призыва в армию окончить пять классов в Слободской школе, притягивал внимание сослуживцев, вызывал уважительное отношение к себе.

Вот и сейчас ему доверили очень ответственное задание: разыскать машину с вооружением, что, по всем данным, всё же прорвалась к ним, и добыть топливо для танков. А где и как искать, если в этой местности Кузьма впервые в жизни? То, что командир роты показал на карте – это одно, а в жизни, на местности – другое. На командирской карте не указано, что районный центр уже в огне: чёрные, густые клубы дыма стоят над населённым пунктом, достигают своими космами и сюда, в поле, где остановился танк младшего сержанта Кольцова. А решения ему принимать и незамедлительно, время не ждёт. Ещё неизвестно, где сейчас проходит линия фронта, и такая бездействующая войсковая единица как танковая рота – что может быть преступней в военное время? Это понимал Кузьма слишком хорошо.

– Павел! Назаров! – младший сержант принял решение, и сейчас доводил до подчинённых. – Остаёшься за старшего, будь всегда на связи. Обнаружить, найти машину с боеприпасами любой ценой и ждать нас вот на этом месте.

Кузьма на мгновение задумался, выбирая себе в напарники кого-то из экипажа. Выбор пал на новичка.

– Я с Агафоном на топливозаправщиках едем искать солярку.

Танк, взревев, направился и дальше по грунтовой дороге, что вела вокруг районного центра куда-то мимо леса навстречу войне.

Водитель машины в засаленной, некогда синей технической форме, и сам такой же вымазанный, скалил в улыбке ослепительно белые зубы на фоне грязного лица, излучал такой оптимизм и жизнелюбие, что Кузьма только диву давался.

– Ты чему радуешься, браток? – не утерпел, спросил Кольцов. – Оглянись: вокруг война, горе, а ты... Погибшие товарищи, тут не до смеха.

– А плакать зачем? – вдруг став серьёзным, строгим, задал встречный вопрос солдат. – Иль, командир, ты меня за дурака принимаешь?

– Я бы так не сказал, однако... вроде и смех не к месту.

– А вот это ты зря, товарищ младший сержант. Я, может, переживаю не меньше других, если не больше, да только вида не кажу, понятно тебе? Да, война; да гибнут товарищи; да, беда над нами всеми, над страной. Скажу больше: не далее как часа три назад я похоронил своего дружка Ваську Потапова, он дневалил по парку, когда самолёты налетели. Так вот он не плакал, не страдал, не переживал, а выводил танки да машины из – под обстрела, пока вы все дрыхли. И вот этот топливозаправщик, на котором мы с тобой едем, он тоже вывел, спас. И умирал на моих руках с улыбкой, и меня просил не плакать, а бить, бить их, сволочей, фашистов этих, и не показывать им свой страх. Говорил, что с улыбкой и помирать легче, а он-то знал, что и как говорить в тот момент.

Водитель с силой ударил рукой по рулю, и вдруг снова улыбнулся.

– Это же мой сосед, Васька-то, мы с ним с одной деревни на Алтае, с детства всегда рядом, всегда вместе. И тут война... и тут Васёк...

– лицо солдата резко исказила гримаса боли, заскрежетал зубами, замотал головой, и глаза мгновенно повлажнели. – Он просил не плакать, и я не буду, не буду! Я их рвать зубами на куски стану, немчуру эту проклятую! Улыбаться буду и рвать, рва-а – ать! За себя рвать буду и за Ваську, понятно тебе?!

И уже плакал, плакал навзрыд, не стесняясь бегущих по щекам слёз, успевая вытирать грязным рукавом и без того грязное лицо.

Кузьма сидел рядом, молчал, не успокаивал, ничего не говорил, понимая, что солдат, по сути, мальчишка; что у человека наступил нервный срыв, и ему надо дать возможность выплеснуть накопившиеся эмоции, и он обязательно успокоится.

Ему, младшему сержанту Кольцову, тоже было не до смеха, тоже хотелось завывать, заплакать, заорать, наконец, чтобы выплакать, выкричать всю ту боль, что скопилась в груди, на сердце, в душе. Однако служебное положение, командирская должность не позволяли расслабляться, запустить в душу жалость, поддаваться эмоциям, доступным, прощаемым подчинённым. Им можно, но только не ему! Его этому учили, и наука та не прошла даром. Он – командир, и этим всё сказано. Он обязан быть всегда ровным, собранным, примером для солдат во всём, и в первую очередь – в личном поведении. А то, что творится у него в душе, на сердце, в голове – это не должно стать достоянием подчинённых. Для них он обязан быть всегда спокойным, ровным в поведении и поступках, уверенным в своих действиях командиром.

Сам Кольцов считал себя намного старше вот этого солдатики, хотя на самом деле они были одногодками, или почти одногодками, одного призыва. Только то положение в обществе до службы, а теперь и командирская должность в армии делали в глазах окружающих его сослуживцев, в его собственных глазах старше ровесников, старше своих подчинённых. Да, наверное, и не только в своих глазах, коль к нему так обращаются и солдаты, и командиры.

Наконец, солдатик притих, продолжая вести машину, внимательно смотрел на просёлочную дорогу, что уже петляла за околицей районного центра.

– Зовут-то тебя как?

– Петькой, Петром меня зовут, командир, Петром Васильевичем Пановым, – он снова улыбался, бросив на Кузьму мимолетный взгляд. – Друг-то Васька, Василий Иванович, а как же Василию Ивановичу быть без верного Петьки? Вот нас в деревне и звали все Чапаевцами: Василий Иванович и Петька. И – э-э-эх! – солдат снова с силой ударил по рулю, повернул к соседу теперь уже опять улыбающееся грязное лицо с лучистыми, горящими глазами. – Будем жить, командир! Будем! Несмотря ни на что – будем! Назло всяким Гитлерам и всем фашистам – будем жи-и-ить! И бить их будем, бу-у-де-е-м!

Кузьма ничего не сказал, лишь коснулся рукой плеча солдата, слегка сжал его.

– Слушай, командир, а у тебя накладные на топливо есть? – безо всякого перехода спросил Петька.

– Какие накладные? Кто бы мне их дал? – младший сержант заёрзал на сиденье, отчётливо понимая всю сложность и безнадёжность своего положения. – Думаешь, на нефтебазе не дадут без накладных?

– Было бы топливо, а там посмотрим. Я не только смеяться да плакать умею, – вдруг снова жёстко заговорил Петро. – До войны точно бы не дали, я их знаю, этих клизм складских. На драной козе не подъедешь. Мы же здесь прикомандированы уже с месяц на танковом полигоне, всегда на этой нефтебазе заправлялись. Но тогда мирное время было, без накладных, без доверенностей с печатью гербовой сам понимаешь, ни шагу. Но теперь-то другое дело.

На окраине районного центра горела нефтебаза. Две пожарные машины и одна пожарная конная телега с бочкой воды и большим ручным насосом, запряжённая двумя лошадьми, суетились на въезде, не решаясь заехать на территорию из – за сильной жары, что доставала и до остановившихся в отдалении двух топливозаправщиков.

– Привет, Афоня, – оказывается, Петька знаком и с новым заряжающим Агафоном Куцым. – Теперь в этом экипаже, земля?

– Да-а, – как-то без особого оптимизма ответил заряжающий. – От вашей машины огонь перекинулся и на наш танк. Вот он и сгорел, холера вас бери с вашими бочками.

– Ну – ну, Афоня, не серчай! Я тебе подарю первый же немецкий танк, не расстраивайся.

– Балабол, чего тут скажешь, – солдат подошёл в Кузьме, взял за локоть. – Что, так и будем стоять, командир? Огонь не скоро погаснет с такими тушителями, – кивнул в сторону пожарных.

Петро в это время стоял и разговаривал, размахивая руками с каким-то низеньким, толстеньким мужичком с папкой под мышками.

– Вот, товарищ командир, Егор Петрович, заведующий нефтебазой, – солдат подвёл мужичка к Кольцову, слегка подтолкнул вперед.

– Упирается, не хочет давать дизельное топливо.

– Да какой давать, ты что, не видишь, что творится? – занервничал, замахал руками заведующий. – Ещё чуть-чуть, и огонь перекинется на ёмкости с соляркой. Я что, не вижу, не понимаю? А только что я могу сделать?

И на самом деле: горели бочки с бензином. Ёмкости с соляркой находились в некотором удалении, в углу обнесённой проволокой территории, но от жары к ним нельзя было добраться, чтобы открыть вентиль и наполнить топливозаправщики самотёком или с помощью ручных помп, поскольку электричества после бомбёжки не было. Да и никто не мог исключить, что сами бочки с дизельным топливом не раскалятся до самовозгорания.

– А что пожарные? – спросил Кузьма. – Пускай бы поливали ёмкости с соляркой, охлаждали, и то хоть какой-то шанс спасти топливо, заправиться.

– Мы что, самоубийцы? – к ним подошёл средних лет мужчина в брезентовой робе. – Как рванёт, мало не покажется.

Агафон Куцый стоял сбоку, слушал, что-то соображая. Потом обнял Петра, отвёл в сторону, и горячо зашептал на ухо.

– Давай я подъеду на пожарной машине с другой, подветренной стороны к ёмкости, и стану поливать её холодной водой, а ты со своим примусом становись на заправку, идёт?

– Так там шофёр в пожарной машине сидит. Его куда?

– А ты не знаешь? Не согласится, так я сам.

Неизвестно, что говорил и как убеждал шофёра Агафон, но когда к ёмкости с дизельным топливом сначала подошла пожарная машина и стала поливать водой цистерну, тогда и другая машина пошла ей на помощь. Топливозаправщики стали под загрузку, а заведующий нефтебазой всё бегал, хлопал руками по ляжкам.

– Кто ж мне всё это спишет, братцы?

– Война, Петрович, война спишет, – пожилой пожарный докурил папиросу, втоптал в землю окурок, направился к машине, чтобы ехать заправляться водой по – новому заходу. – Тут бы быстрее солдатам закачать, пусть хоть что-то с пользой пойдёт, а не то немцы опять налетят, взлетит всё к ядреной Фене.

В подтверждение его слов в воздухе послышались рёв самолётов: на районный центр надвигалась очередная волна немецких бомбардировщиков. Три из них уже пикировали на нефтебазу.

Кольцов с товарищами еле успели отъехать подальше, как на месте нефтебазы горел огромный яркий костёр, поглощая в себя всё живое и неживое в округе. Взорвавшиеся ёмкости с топливом разбрасывали вокруг себя страшные горящие брызги на близлежащие дома, ветром пламя сносило дальше, и уже охватился огнём почти весь пригород районного центра.

Вторую машину так и не успели заправить полностью: помешал налёт самолётов. Полупустая, она ехала впереди, поднимая шлейф пыли. И вдруг над ними пронёсся самолёт.

Столб земли вырос перед машиной, в которой были Кузьма с Петром. Взрывной волной только колыхнуло сам топливозаправщик, и шофёр еле успел обернуть воронку от бомбы.

– Твою мать! Это уже серьёзно, командир! – и резко бросил машину вправо, в поле.

– Куда, ты куда? – заорал Кузьма.

– Не мешай, командир! – с застывшей на лице усмешкой, Петька вёл машину, поминутно выглядывая из кабины. – Ты ему кукиш, кукиш, сержант! Вдруг испугаешь. Или язык ему покажи: вдруг рассмешишь, твою мать. Он от хохота обгадится, а мы в это время и спасёмся. Помолчи! Сейчас я начальник, а ты терпи!

Машина дребезжала, подпрыгивая на кочках, скрипела фанерной кабиной.

Самолёт к этому времени развернулся и направился на топливозаправщик Петра точно по курсу – в лоб. Кузьма вжался в сиденье, безмолвно, неотрывно смотрел на несущуюся с неба смерть, понимая, что он сам в этой ситуации совершенно бессилен. Но ни у него, ни у водителя даже не возникло мысли оставить топливозаправщик, такую огромную мишень, спастись самим.

Ведь попасть с самолёта по таким маленьким целям на земле как человек, не так уж и просто. А тут такая мишень, как огромный топливозаправщик. Захочешь – не промажешь. Фанерная кабина была плохой защитой. Но им в данный момент важно было спасти солдаку. Это, как никогда ясно и отчётливо понимали оба – и водитель рядовой Панов, и старший машины младший сержант Кольцов.

До какого-то мгновения водитель не менял направления, шёл прямо навстречу самолёту, когда казалось – всё! Конец! И вдруг по одному ему ведомым соображениям снова отвернул резко в сторону, обратно к дороге.

Бомба взорвалась где-то позади машины, и Петро тут же громко расхохотался. Только смех его был, как и в прошлый раз: на грани срыва.

– Видал, как мы его? – зло произнёс водитель.

Впереди идущий топливозаправщик вдруг начал ходить по кругу, а потом совсем остановился и из него повалил густой чёрный дым. В тот же миг Петро направил свою машину в облако дыма, и ещё через какое-то время они и сами уже ничего не видели, стояли под прикрытием дымовой завесы, что образовалась от горевшего заправщика. Однако ветром сносило дым в сторону, и Панов увидел, как из кабины вывалился его сослуживец.

Петро тут же бросился к товарищу, но его опередил Агафон, он шёл навстречу, нёс на руках раненого водителя. А самолёт к тому времени улетел, и в очередной раз за этот день наступила тишина, что нарушалась разве что треском и гулом горящего топлива да громкими криками Петьки.

– Афоня! Что с Ванькой?

– Не ори, помоги лучше, – зло ответил Куцый.

Водителя первой машины ранило осколком бомбы в левый бок, вырвав огромный клочок обмундирования вместе с человеческим телом, выворотив наизнанку кишки, которые свисали из – под грязной одежды. Агафон положил свою ношу на траву, стоял на коленях перед солдатом, всё пытался вправить внутренности на место, приговаривая:

– Терпи, Ваня, терпи, дружок. Мы... сейчас... сейчас... браток... – голос срывался, руки дрожали.

Кузьма с Петром находились рядом, молча смотрели, как бледнело лицо раненого, как жизнь покидала солдата, не в силах помочь ему, спасти.

Именно осознание беспомощности бесило, выводило из себя. Только что не смогли противостоять облагавшему от безнаказанности немецкому лётчику, а теперь не могли помочь истекающему кровью товарищу. Выводила из себя безысходность. Казалось, будь оружие в руках, и ты бы был с врагом на равных. Это бы придало сил, уверенности в себе. Но быть просто мишенью?! Этому противилось естество младшего сержанта, бесило.

Танк КВ вместе с обнаруженной машиной с боеприпасами находились там, где и указал Кузьма. Сама машина была прицеплена за танковый трос.

Павел Назаров выбежал навстречу, радостно размахивая руками.

– Командир, командир, мы их нашли почти что сразу. Чуть-чуть до нас не доехали. Бензин кончился. А как у вас?

Пока танкисты ждали товарищей с топливом, времени даром не теряли. Невзирая на протесты водителя, загрузили себе полный боекомплект, зарядили несколько лент к танковому пулемёту, и сейчас гордо показывали командиру свои достижения.

– А то, командир! Тут недавно самолёт пытался за нами поохотиться, так Павлик враз отбил ему охоту: снял кормовой пулемёт, да и резанул по вражине. Представь себе, задымил немчура и скрылся за лесом. Вот так, пускай знает наших! – меха ни к-водитель Андрей Суздалыдев прямо захлёбывался от восторга.

– Зато за нами удачно поохотился, – мрачно заметил Агафон и зло сплюнул. – Такого парня потеряли, э-э-эх! И почти половина бочки солярки сгорела. А нам и нечем ответить. Только и могли, что матерились вдогонку.

Часть снарядов, что загрузил себе экипаж Кузьмы, командир роты приказал изъять, чтобы хватила на всех, и поделил поровну. По два цинка патронов досталось на каждый танковый пулемёт, и это уже что-то. Личного оружия так и не было ни у кого. Говорят, его везли на других машинах, но...

Дозаправили баки топливом, и небольшая колонна из шести танков, одной танкетки, одного топливозаправщика выдвинулась на исходный рубеж к деревне Мишино. Резерв командира роты под командованием лейтенанта Шкодина ехал в крытом брезентом газике с прицепленной к нему полевой кухней сразу за командирским танком. Машину тыловиков, что доставила боеприпасы, не оставили на танкодроме, а снова так же зацепили тросом за танк в надежде на то, что удастся достать бензин и для неё.

Выдвинулись ближе к вечеру, чтобы обезопасить себя от налёта вражеской авиации. Но на всякий случай капитан Паршин приказал стрелкам-радистам быть готовыми к отражению воздушной атаки пулемётами. Пример Павла Назарова вдохновил, вселил уверенность, что и немецкие лётчики не бессмертны, и на них есть управа. Особенно если есть чем сбивать их.

Первый военный июньский день не спешил покидать землю, цеплялся за жизнь, как цеплялись, боролись за жизнь тысячи и тысячи людей на этой земле, что потянулись бесконечной вереницей в глубь страны, подальше от границы, туда, где с большей долей уверенности можно было и сохранить эту жизнь.

Небольшое воинское подразделение из нескольких танков бежало навстречу войне, торопилось туда, где в ночи вспыхивали сполохи пожаров, где гремели адские, страшные взрывы. Туда вёл их солдатский долг, долг защитника, воина, бойца, вела присяга. Они обязывали встать намертво, насмерть встать на пути врага; не дать ему продвинуться вслед бесконечной колонне беженцев; остановить немцев любой ценой, ничуть не думая о своей собственной жизни.

Им и не положено думать о собственной жизни. А если вдруг у кого-то и возникнет такая мысль, такое желание подумать о ней, так только оценить её, чтобы продать как можно дороже, да такую цену выставить, чтобы враги захлебнулись собственной кровью, забирая жизнь солдата, воина, защитника. Только с такой точки зрения и стоит думать. В противном случае это уже не солдат, не защитник, не воин, а нечто бесформенное, жалкое подобие человеческой особи. И цена ему – презрение сослуживцев, забвение знакомыми, родными, Родиной, наконец.

О ней, о собственной жизни, не думал и командир танка КВ-1 младший сержант Кольцов Кузьма Данилович, как не думали о ней и члены его экипажа. Все переговоры по танковому переговорному устройству были об одном: дойти до исходного рубежа и встать! Встать и остановить на этом рубеже врага любым путём, любым способом, но не пустить дальше этого клочка земли, пропитанного кровью и потом его предков. И милее, роднее и дороже вот этого безымянного клочка родной земли уже для солдата с этого мгновения нет и не будет. Именно он воплотит, и уже воплотил в себя всё понятие «Родина». А солдат готов морально и физиче-

ски вот здесь, вот сейчас защитить этот кусочек родной земли, и если потребуется, то и окропить его, пролить и своей крови, внести и свою лепту в веками выстраданную его предками любовь и преданность к своей земле не на словах, а на деле. Даже если для этой цели потребуется его жизнь, а не только кровь. Он не нарушит ни воинского устава, ни присяги, как и не нарушит древние традиции своего свободолюбивого, мужественного народа, откуда и выстрадалась, произросла каждая буква воинской клятвы, написанная кровью предков.

Хватит ли топлива? Как с поставкой боеприпасов? И ни слова о себе, о своих переживаниях, болях, утратах, что понёс батальон в первый военный день. Всё естество каждого из бойцов нацелено на конечную цель: дойти и остановить врага!

Только теперь вдруг начало саднить, болеть обожженное утром тело.

Кузьма, как и другие командиры экипажей, сидел на краю люка, свесив ноги внутрь танка, смотрел на взявшиеся волдырями руки, думал, чем бы их замотать. И вдруг до него дошло, что за весь день он так и не вспомнил о раненых руках, обожжённом лице, да они и не напоминали о себе за всё это время. Или не болели? А кто его знает? Вроде, как и не болели или кажется, что не болели? А вот сейчас заболели, напомнили о себе.

Рядом с ногами Кузьмы появилась голова заряжающего Агафона Куцего. Грязное, в масляных подтёках лицо, смотрело снизу на командира выжидающе и строго.

– Чего тебе, – перекричав шум двигателя, спросил командир.

– Там у меня сухой паёк в сидоре. Когда можно будет его распечатать? А то больно есть хочется, да и ребята...

– Терпите, как остановимся, тогда все вместе.

Спустя минуту, Кузьма уже слышал в наушниках, как оповещал по внутреннему переговорному устройству сослуживцев Агафон.

– Приказано терпеть, вот так-то, братва. Так и до Берлина голодными доедем.

– Если так, то я согласен, – отозвался меха ни к-водитель Андрей Суздальцев. – Голодные, мы злее будем, быстрее дойдём до Берлина и возьмём за горлянку этого Гитлера с гитлерятами.

Остальные члены экипажа промолчали или не были подключены к переговорному устройству.

Тяжёлая железная бронированная махина бежала вслед таким же урчащим грозным машинам, несущим кому-то смерть, кому-то – надежду на победу, на спасение, а кого-то и везла в один конец.

Огромное, почти чёрное в ночи, облако густой пыли висело над притихшей, затаившейся землёй, будто пыталось собой прикрыть её от чужого вторжения, пока вот эти танки вместе со спрятанными в их чреве воинами смогут взять, взвалить на свои плечи ответственность за свою землю, за свою Родину.

А они спешили. По радиии командир приказал прекратить всякие разговоры, без крайней необходимости на связь не выходить, строго выдерживать дистанцию от впереди идущих машин.

Обгоняли несколько колонн пехоты, что так же спешили навстречу войне.

Вдоль дорог то тут, то там горели небольшие костерки, вокруг них сустились женщины, старики, дети; висели котелки с немудрёным варевом.

И нескончаемый людской поток двигался куда-то вглубь страны, подальше от вражеских самолётов, от стрельбы, от взрывов, от смерти.

Несколько раз навстречу попадались большие гурты скота, что тоже гнали по полям, уводили от линии фронта в надежде на спасение. Погонщики скота стояли в пыли, смотрели вслед проходящим танкам, махали руками.

Непреодолимой преградой для небольшой танковой колонны стала такая же небольшая, но топкая, полная воды речушка Щара, что брала своё начало где-то в таком же топком, боло-

тистом Полесье, что бы соединиться, слиться с Нёманом правее местечка Мосты. Каких-то двадцать километров, и вот он, рубеж обороны танкового полка, куда так спешила рота капитана Паршина. Мост через речку был разбомблен!

И они оказались не одиноки: на этом берегу скапливалось немалое количество войск. Видны были тракторные тягачи с тяжёлыми орудиями на прицепах; несколько санитарных машин какого-то госпиталя; отдельно, чуть в отдаление сосредоточились машины с боеприпасами, укрытые брезентом. Пехота расположилась вдоль дороги по обочинам в мелких кустах, что тёмными кучками чернели в ночи. Некоторые пехотные подразделения пытались форсировать реку в плавь, уходили куда-то берегом, на подручных средствах переправлялись на ту сторону, ближе к войне. Руководил ими, подгонял пехоту сорвавший голос майор, что уже не мог говорить, а лишь сипел, помогая себе зажатым в руке пистолетом.

Как выяснил потом командир роты, это были части 10-й армии Западного фронта, куда и входил танковый полк с ротой капитана Паршина.

Ближе к рассвету началось шевеление, войска вытягивались в походные колонны, уходили вдоль реки вверх по течению: прошла команда переправляться по только что наведённой переправе.

Всю ночь капитан Паршин не терял времени даром, и теперь все командиры танков и члены экипажей имели табельное оружие пистолеты ТТ с двумя обоймами патронов к ним. Правда, пополнить боезапас танков так и не получилось, как не получилось и дозаправить сами машины. Даже напротив, остатки солярки, что ещё бултыхались в пришедшем с полигона топливозаправщике Петра Панова, пришлось раздать тракторным тягачам. И сейчас сам водитель бежал среди танкистов, жаловался всем:

– Какие хитрые эти трактористы с артиллеристами! Ты добудь соляру эту, как мы добыли; сохрани её, а потом и разбазаривай.

Несколько раз порывался подойти к командиру роты, но так и не осмелился, своё негодование высказывал экипажу Кольцова.

– Нет, ну вы посмотрите?! Они что, так на дурачка всю войну пройдут, знаю их, подлых. А когда стрелять придётся, вас, танкистов, попросят. Всё правильно! Боги войны! И какой дурак им такое имя дал? Вот уж точно головы не было у того человека.

– Охолонь, Петя, – Агафон сунул в руки Петру горсть сухарей. – Побереги нервы: они тебе пригодятся для разговора с Гитлером, когда мы его допрашивать станем.

К переправе подошли на рассвете. Сначала пошла тяжёлая артиллерия, за ней пристраивались танки капитана Паршина. И в это мгновение, когда первый трактор ещё не успел коснуться гусеницами того берега, заработали зенитки, что прикрывали переправу.

Откуда-то из – за леса на малой высоте появился первый немецкий бомбардировщик. Следом за ним с разных сторон с неба обрушивались несметное количество ревущих, стреляющих самолётов.

Взрывы один за другим слились в несмолкаемый, оглушающий грохот, поднимая в воздух то брёвна с переправы, то столбы воды с грязью, то оторванную от тягача пушку перевернуло в воздухе, будто фанерную; то колесо просвистела в непосредственной близости от танка младшего сержанта Кольцова.

Топливозаправщик Панова горел, сам водитель горящим факелом катался по земле.

Очередным взрывом окатило водой солдата, и вот уже он сидит на броне танка, уцепившись в скобу на башне рядом с Кузьмой, орёт в ухо:

– Стреляй, стреляй, мать твою так! У вас же пулемёты!

– Рассредоточиться! – раздалась в шлемофоне команда командира роты. – Огонь по воздушным целям!

Танк, взревев, сорвался с места, направился в густые заросли подлеска, подальше от переправы. Туда же выдвигались и другие экипажи, на ходу стреляя по самолётам.

Оттого ли, нет, но один за другим два самолёта задымили вдруг, махнув чёрными хвостами дыма, скрылись за лесом, и через мгновение оттуда раздались взрывы, взметнув навстречу взошедшему уже солнцу столб огня.

– Так их, так их, сволочей! – Петька Панов плясал на броне танка, даже несколько раз целовал его в холодную сталь. – Так их, так, грёба душу мать!

А сам уже стрелял из невесты где взятой винтовки по самолётам, сопровождая каждый выстрел страшными матерками.

По месту переправы бегал немолодой капитан, сгонял одиночных солдат, передавал такому же капитану с перевязанной головой, и тот строил их в три шеренги у подбитого артиллерийского тягача.

– В строй! Я сказал – в строй! – махал пистолетом перед носом Петра Панова, увидев, что тот никак не определиться, мечется среди танкистов.

– Куда его? – успел спросить командир взвода лейтенант Дроздов.

– На оборону переправы, да и другую переправу наводить надо, а они тут бегают... людей нет... – на ходу, не останавливаясь, отмахнулся от лейтенанта капитан.

– Прощайте, бра-а – атцы-ы! – успел ещё крикнуть Петька уже из строя, как раненый капитан уже дал команду:

– На – пра-а – во! – и сборная колонна направилась куда-то вдоль берега.

Не успели оправиться от первого налёта, как к переправе вновь направились немецкие самолёты. На этот раз два из них всё утюжили и утюжили то место, где стояла зенитная батарея, до тех пор, пока Кузьма не увидел, как разлеталось ключьями в стороны то, что только что было зенитками. Остальные снова принялись за переправу, но доставалось и танкистам, санитарным машинам, тракторным тягачам с пушками, что пытались уйти как можно дальше от этого страшного места, укрыться в лесочке, что находился недалеко.

– Командир, а патронов-то нет! – разъярённый стрелок-радист Павлик Назаров сидел на броне, матерился, махал сжатыми кулаками, орал куда-то вверх, туда, где безнаказанно проносились вражеские бомбардировщики. – Да что ж это такое? Да как же так, команди-и – ир?

Кузьма смотрел на подчинённого, и его самого распирало от осознания личного бессилия, от нахлынувших вдруг вопросов, на которые ни он сам, ни кто-то другой не могли дать объяснений, и потому самому снова хотелось тоже закричать, заорать благим матом в ответ на ту вакханалию, что творилась на его глазах.

Очередная бомба накрыла резерв командира роты во главе с лейтенантом Шкодиным. Политрук Замятин катался по земле, и вдруг затих, неестественно изогнувшись.

И танки горели. Их танки КВ горели! Горел командирский танк, который не успел выехать с огромной воронки на краю болота, застрял там, а сейчас горел. Из открытых люков в спешке выпрыгивали члены экипажа, бросались на землю, пытались сбить с себя огонь.

Не думая, Кузьма слетел с брони, кинулся к командирскому танку. Там, наклонившись над люком, стрелок-радист пытался кого-то вытащить, но ему это не удавалось, поскольку промасленная одежда на нём дымилась, а в районе поясицы уже и пыталась гореть открытым пламенем.

Схватив в охапку горящего танкиста, Кольцов с силой бросил его в воду, в грязь, а сам опять вскочил на броню. Но там уже Агафон вытаскивал из люка командира роты капитана Паршина. Бледное, как мел, лицо ротного с тонкими кровавыми ручейками изо рта, из ушей взирало на окружающий мир невидящими, потухшими глазами, руки безвольно свисали к земле.

Павел Назаров принял тело командира, Куцый успел ещё сорвать с креплений пулемёт с оставшимися патронами, пока огонь не охватил его, и патроны не успели взорваться.

Стрелок-радист бережно нёс Паршина, рядом шли Кузьма с Агафоном, пытаюсь помочь товарищу. У своего КВ уложили капитана на клочке высокой травы, встали рядом, не зная, что и как им теперь быть.

Откуда-то появился командир взвода лейтенант Дроздов, опустился на колени, взял руку ротного за запястье, потом провёл пальцами по глазам Паршину, сорвал с головы шлем, и застыл, глядя куда-то вверх, на бегущие по небу облака.

А вокруг дымились танки, орали раненые, горели машины... И не было самолётов. Как будто их и никогда здесь не было, такая наступила тишина после бомбёжки. И не было слёз. Только что-то горячее, большое, твёрдое, колющее встало в горле, не давало дышать, не давало говорить. Да от бессилия скрежетали зубы и сжимались кулаки. И всё!

– Офицеров требует к себе адъютант начальника оперативного отдела полковник Шубин! – высокий подтянутый и опрятный сержант с непривычным для танкистов автоматом в руках требовательно тормозил за плечо лейтенанта Дроздова. – Кто ещё есть из офицерского состава? А коммунисты есть?

– Есть. Я – коммунист, – Кузьма повернулся к сержанту, застыл перед ним по стойке «смирно». – Младший сержант Кольцов!

– Пойдёте вместе. Коммунистов собирает заместитель начальника политического отдела майор Душкин.

Разбросанные брёвна настила, горящие машины, истошные крики и стоны раненых, команды начальников разных рангов и должностей – всё это царило сейчас на месте бывшей переправы. Трупы убитых лошадей, остовы сгоревшей и продолжающей ещё гореть техники, огромные воронки от разорвавшихся бомб сопровождали Кузьму и лейтенанта Дроздова всю дорогу до штабной машины, которая стояла под прикрытием старого ветвистого дуба на опушке леса, что начинался в полукилометре от переправы.

Куда-то сновали адъютанты и порученцы; радист настойчиво вызывал «Нёман»; несли на носилках раненых; хоронили в братскую могилу убитых; стучали топорами сапёры, и наступало утро нового дня войны.

Глава вторая

Данила шёл лесом. Возвращался в деревню, рассчитывал попасть домой засветло. Пошёл не вдоль реки, а кружной дорогой, через гать. Хотя так и длиннее путь, но вот захотелось пройти им, подольше побыть наедине с собой. Больно тяжкие события произошли сегодня на его глазах. Перед тем, как поделиться впечатлениями с кем-то, надо было разобраться в них самому.

Сегодня рано по утру неожиданно нагрянули немцы в Вишенки, оцепили, согнали к бывшей колхозной канторе всех жителей. Вокруг толпы людей выстроились немецкие солдаты с оружием наизготовку. Это было первое появление немцев. Однако вели они себя по – хозяйски, бесцеремонно подгоняя жителей прикладами в спину, не разбирая, молодые это или почтенные старики. Люди роптали, но подчинялись. Не в привычке такое обращение в Вишенках, однако, были вынуждены терпеть: люто взялись за сельчан фрицы. Да и при оружии, в отличие от местных жителей. Но выводы для себя делать начали сельчане.

Помощник коменданта лейтенант Шлегель встал на крылечко, на чистейшем русском языке и без акцента в очередной раз довёл требования оккупационных властей об укрывательстве или помощи красноармейцам, коммунистам, евреям.

Tod! Tod! Tod! – Смерть! Смерть! Смерть! – это слово наиболее часто упоминается при общении немцев и местных жителей.

Иногда Даниле кажется, что других слов, выражений эти фрицы и не знают. Для пущей важности и острастки нацепили плакатов на стенку канторы, и опять с этими же требованиями, и снова – смерть! смерть! смерть!

И что бы слово не расходилось с делом, тут же выделили из толпы мужиков и женщин человек двадцать, Данила, в том числе попал в эту группу, загрузили в машины, увезли в Слободу. А уж там согнали из Пустошки, Борков, из Руни таких же, повели смотреть на расстрел захваченных в доме местного жителя Володьки Королькова двоих офицеров.

На краю рва за деревней, за скотными дворами стояли два молодых красноармейца с зелеными петлицами на гимнастёрках. Один из них был сильно ранен, стоять самостоятельно не мог, и его всё время поддерживал товарищ. Обнял, обхватил у пояса, не давал упасть.

– Помоги... мне... – долетали до толпы слова раненого. – Ты... это. не урони... меня... Ванёк... Только бы... не... упасть...

– Ага, держись, держись, тёзка. А я не уроню, – отвечал ему товарищ, всё плотнее, всё крепче прижимая к себе сослуживца.

Данила скрежетал зубами, сжимал кулаки. Вишь ли, помереть хочет стоя. На ум Данилы, какая разница как помирать. Хотя, кто его знает? Наверное, разница всё же есть, раз так просит. На краю могилы ему виднее, о чём просить товарища, как самому стоять, считает Данила Никитич.

Молоды слишком, однако уже с командирскими «кубарями» в зелёных петлицах и по два угольника на изорванных рукавах гимнастёрок. Да и взяли их в доме ранеными, но при оружии, а вот сейчас поставили на краю рва за деревней, за скотными дворами, туда же пригнали Володьку с женой Веркой и тремя ребятишками: две девочки-погодки шести и семи лет и мальчонка годика три. Папка сынишку на руки взял, девчушки к мамке прижались, застыли. Дом их уже сожгли, одна печка стоит на пепелище.

Данила видел, когда проезжал по деревне только что. Сейчас за семью взялись.

Этот, что ещё стоять мог, всё просил прощения у людей да у Корольковых. Мол, простите, люди добрые, что вас не защитили ещё там, на границе, да и подвели товарища с семьёй. И просил детишек не стрелять, это уже к коменданту майору Вернеру, который руководил расстрелом лично, так обращался.

– Не след настоящим мужикам воевать с бабами да детишками.

Иль ты не офицер, не человек? Вот мы, солдаты, стоим перед тобой, так и убивай нас, чего ж за невинных людей взялись?

Куда там! Станут они слушать пленников?!

Первыми стали расстреливать Корольковых. Видимо, что бы другим сельчанам неповадно было прятать, спасать красноармейцев, и чтобы лейтенанты видели, что из – за них страдают мирные люди. И расстреливали Корольковых по отдельности, не всех сразу.

Сначала папку с сынишкой...

Володька долго не падал, всё держал сына на руках. До последнего не уронил. Данила видел, что мальчонка уже безвольным, неживым лежал на папкиных руках. А тот всё не бросал, за жизнь цеплялся сам и сыночка спасал. Даже когда на колени упал, всё равно не уронил сынишку, прижимал и прижимал к себе.

Тогда солдат подбежал да в упор с винтовки несколько раз выстрелил в Володьку, в голову, только после этого расстались сын с папкой, хотя и легли рядышком: распростёртые руки отца, а на руке папкиной головка сына покоится. Отдыхают будто, прилегли... Только голова мальчонки изрешечена пулями... Да и папкина вся...

А мамка с девчушками? Не мог больше глядеть Данила, зажмурил глаза, опустил голову, обхватил руками да скрежетал зубами. Так батюшка отец Василий, что рядом стоял, прямо заставил поднять глаза, смотреть, как гибли детки безвинные.

– Смотри, смотри, сын мой! Такое – не прощается! – и осенял крестным знамением погибших. – Злее будешь!

И голос у священника был не умиротворяющий, к которому в последнее время привыкли прихожане, а грозный, требовательный, повелительный. Именно таким голосом он когда-то разгонял толпы мужиков, что шли стенка на стенку. Вот и сейчас борода его топорщилась, глаза гневно блестели.

– Запоминай, сын мой: сам Господь зовёт к отмщению!

Сначала резанул по сердцу крик предсмертный Верки, потом детки завизжали, и всё, кончилось.

А этот, офицер, что поддерживал друга, тоже не сразу упал, сделал шаг-другой навстречу стрелкам, и только потом рухнул, не выпустил из рук товарища. Так и легли рядышком, в обнимку.

Упали вместе...

Тяжёлый вздох пронёсся над толпой, и тут же затих. И Данила хотел закричать, хотелось так гаркнуть, чтоб связки голосовые сорвались, чтобы больно самому стало. Но сдержался, а, может, это ком горячий, большой, что встал в горле, помешал? Кто его знает? Только не закричал, как не закричали и все остальные свидетели зверской расправы над людьми. Лишь вздох, тяжёлый вздох вырвался из уст и застыл над толпой. Однако солдаты тут же открыли огонь поверх голов, принуждая пригнуться, замолчать всех. Значит, чувствуют свою слабость, слабину, вину, потому и боятся, стреляют.

Мужчина прекрасно понимает, что это немцы хотят так напугать, запугать, чтобы другим не повадно было. Ой, вряд ли?! Скорее, не страх это вызвало, расстрел этот ни в чем невинных людей, детишек, а презрение, ненависть. Да такую ненависть, что Данила не в силах объяснить словами состояние своей души, а только будет делать всё, чтобы прервать пребывание врага на его земле, в его деревеньке. То, что немцы стали для него личными врагами, уже не вызывало сомнений. Притом, врагами злейшими, недостойными ходить по его, Данилы Никитича Кольцова, дорогам, дышать одним с ним воздухом.

Это же где видано, чтобы детишек, деток малолетних под расстрел? И, что самое главное, рожи-то, рожи какие довольные у солдат и офицеров! Вот что страшно. Неужели это люди? Испытывать удовольствие от расстрела себе подобных? От расстрела детишек потешаться?

Господи, оказывается, Кольцов и жизни-то не знает, думает, наивный, что человеческая жизнь свята, а оно вон как?! Это ж где такому учили, и кто тот учитель, Господи? И не отсохла голова у того учителя, и не провалилась в тартарары та школа.

Данила знает, что человеческой природе чуждо лишать жизни себе подобным, разве что на войне, в открытом бою. Ему, как мужчине, как солдату, это ещё понятно: или ты убьёшь, или тебя жизни решат. Но, это в бою. Там бой идёт на равных, у каждого в руках оружие, кто кого победил, тот и празднует победу.

– А сегодня? В голове не укладывается. И рожи довольные! Как же, расстреляли безоружных людей, как не порадоваться, тьфу, прости, Господи! Детишек?! Верку с Володькой!? Уроды, точно, уроды! – вот, именно то слово, которого так не хватало Кольцову, чтобы хоть чуточку успокоить душу, выпустить ту горечь, что накопилась в ней. – У – ро-ды! Да ещё какие уроды! Всем уродам уроды, прости, Господи, – Кольцов и не заметил, как стал разговаривать сам с собой.

Данила помнит с той войны как брали пленных немцев, раза два сам лично участвовал в пленении врага. И, ведь, ненависти не было к ним, нет, не было. Как сейчас помнит, что угощали куревом в окопах, хотя только что вернулись с рукопашной и с этими же солдатами противника пластались не на жизнь, а на смерть на поле боя. Но когда бой закончился, когда противника пленили – всё! Трогать не моги! Пальцем не прикоснись – пленный! Что характерно, командиры даже не говорили о гуманном отношении к пленённым врагам, наши солдаты это понимали без подсказки, без приказа. Сильный слабого не обидит – это уже в крови у русских солдат. И, на самом деле, зла не держали, давали котелок свой с остатками солдатской каши, делились с пленными, пока их не уводили куда-то в тыл, подальше от линии фронта. Но, что бы убивать? Вот так, как они сегодня с офицерами и с семьёй Корольковых? Боже упаси! При всей ненависти к врагу, совесть христианская, православного человека не позволяла глумиться над беззащитным. Пока ты с оружием в руках противостояшь русскому солдату – ты враг. Но только бросил оружие, руки вверх поднял – всё! Для русского солдата ты стал обыкновенным гражданином, обывателем. Не сумевшем в силу ряда обстоятельств, в том числе и из – за личной слабости, противостоять противнику. Значит – ты слаб в коленках. А со слабым противником какие могут быть бои? Видно, русского солдата по – другому учили, не так воспитывали, кто его знает? Но, уж, точно, не так как этих нелюдей.

Да-а, погляде-е-ел, да такое поглядел, что и врагу злейшему не пожелаешь увидеть. Лучше бы глаза повылезли, чем такое смотреть... Вот, не знает даже, рассказывать домашним об увиденном или нет? Решил, что с мужиками на деревне поделится, расскажет, а домашним? А зачем? Хотя, кто его знает, может и надо поведать, зачем же правду скрывать? Им же, детишкам, с этой сволочью, с немцами то есть, общаться надо, вынуждены будут. Пускай всё знают, пусть заранее готовятся к самому страшному. Раз будут знать, значит, будут готовы, так быстрее схоронятся, уберегутся от беды, постараются не допустить её, беду эту на свои детские головёшки. Обязательно расскажет, чего уж... Да и другие земляки видели, расскажут. Не он один из Вишенков был в Слободе.

Всякое передумал там, на месте расстрела за деревней у рва, что за скотными дворами. И понял одно: страшный враг пришёл на нашу землю, такой страшный, что... Побороть его, победить – это ого-го как напрячься надо, сколько головушек православных сложить придётся. Вон какая силища катит в сторону Москвы, как устоять против неё? Да-а, посмотре-е-ел. Пока был в Слободе, видел, как по шоссе всё шла и шла техника на Москву, всё везли и везли немецких солдат туда же, где в это время истекает кровью Красная армия. Силища, конечно, огромная. Чтобы остановить её, это ж какая ещё силища потребуется от Красной армии, от советского народа? Ого-го-о! Насмотре-е-е-елся.

А вот сейчас возвращается домой. Вишенские уже ушли раньше, пустошкинские свернули на свою дорогу, пошли к себе, вместе шли до развилки, а он, Данила, задержался

маленько. Покурил в Борках, перекинулись парой-тройкой слов, поделились новостями с тамошним сапожником Михаилом Михайловичем Лосевым. Чего бы и не поговорить с хорошим человеком, с уважаемым? Частенько бегал к нему до войны то починить обувку себе с Марфой, а как детишки пошли, так и им. Новых-то не накупишься, а чинил Михалыч ладно, хорошо. А если хороший материал попадал в руки, то и шил. Да к нему все шли, вся округа несла.

А сегодня специально завернул во двор сапожника, поговорить хотелось, выговориться. Накипело на душе, искало выхода. Как назло, знакомые в Борках на глаза не попадались, разве что женщины. О чём с ними говорить? А тут Михалыч, сапожник... Вот и забежал к нему на минутку. Сам хозяин как раз находился на своем подворье, выстругивал из берёзового чурбачка сапожные гвозди.

О том, о чём поговорили, добрым словом вспомнили Щербича Макара Егоровича; ужаснулись страшным событиям; вспомнили свою службу в армии, когда с немцами воевали, решили, что сломает хребет Гитлер на России, сломает.

– Русский над прусским всегда верх держал, всегда мы победу праздновали, чего уж там скромничать, – Михалыч смачно сплюнул, снова сильно затянулся дымом. – Нас об колено не сломать, об этом немчура о – о – очень хорошо знает, потому и нервничает, сволота. Попомни мои слова, Данила Никитич, наша возьмёт, точно говорю! Вот эти расстрелы мирных селян – это от страха. Неуютно они себя у нас чувствуют, потому и бояться. А от страха чего только не сделаешь. Сильный в своей правоте уверен, он силен правдой, так он не злобствует, он спокоен. А немцы – вишь, чувствуют, что неправы, чуют свою слабость, свою кончину в самом начале войны, потому и бесятся почём зря. И гадалки не надо: каюк им придёт, гансам этим.

– А то! – не стал сомневаться и Данила. – Однако дерётся немец смело, это не отнимешь. Труса не празднуют. Бывало, в рукопашную идём, так не сворачивает, сволота, так и норовит нашего брата на штык нанизать. Но не тут-то было, ты же знаешь, Михалыч! И мы, православные, не лыком шиты, итить его в корень. Правда, у меня на спине хорошая отметина от немца осталась ещё с той войны. Если бы не Фимка – не говорил бы я с тобой, а косточки бы парил давным-давно в земле сырой. Вот как оно...

– Ничего-о, и смелых успокоим, Данила Никитич, не смотри, что с одной ногой, а тоже в стороне не останусь. Мы, Лосевы, ещё ого-го-го! И на этот раз скулу свернём, к попу не ходи! Это в ту войну он мне тоже отметину поставил. Только похлеще твоей будет: осколком ногу отхряпал, зато теперь я поумнел маленько, вот так-то... Ума как раз на полноги прибавилось.

О сыновьях вспомнили: у того и другого сыновья в армии. Где они? что с ними? как они? У Михалыча сынишка военное училище должен был окончить как раз к началу войны. Грамотный, шустрый парнишка. Данила хорошо его помнит, в отца пошёл. Такой же шепутной, но правильный паренёк. Обещался в письмах домой заскочить в отпуск, да вишь, как оно обернулось...

И у Данилы Кольцова сын Кузьма в танковых войсках младшим командиром поставлен. Командует грозной машиной – танком. Это тебе не трактором управлять, понимать надо. Не каждому такое доверить могут. Фотографию успел прислать в последнем письме. Младший сержант Красной армии. Вся деревня приходила смотреть.

– Скажу как на духу, Михалыч, – доверительно заговорил Кольцов. – Знаешь, я как узнал, прочитал в письме, что мой старшой Кузьма в Красной армии стал младшим командиром, командует танком, так такая гордость, такая... что... от счастья плакал... это... Веришь? Мой сын из забитой и забытой деревеньки Вишенки командует танком! Каково, а?! Правда, он и до армии себя прославил, ты же, Михалыч, знаешь. Вон сколько раз об нём газетах писали... это... – Данила который раз за этот день зашмыгал носом, закашлялся, незаметно смахнул непрошенную слезинку.

– Понимаю, Никитич, – Лосев опять достал кисет. От его глаз не скрылись переживания собеседника и его гордость за сына. – И мы с женой... с Веркой моей... тоже... это... Лёнька-то наш офице-е-ер! Офицерскую школу окончил! Вот оно как! Как поступил, написал нам письмо. Вот мы с женой тоже... Не хуже тебя... Папка инвалид, сапожник, мамка – простая колхозница, а сын... От что значит наша родная советская власть!

– Да-а, нам бы жить да жить, так вишь, как оно... – гость прикурил у хозяина, сильно затянулся. – Только-только на ноги становиться начали, так немец тут, холера его бери...

Вроде в беседе и ответа не нашли на все вопросы, а всё равно на душе как будто полегчало. И слава Богу. Значит, не зря проведаль хорошего человека. Данила знает, что от общения с хорошим человеком и сам лучше становишься.

До Вишенок оставалось почти ничего, ещё один свороток за Михеевым дубом, и вот они – огороды, как справа, со стороны Горелого лога раздались сначала выстрелы из пистолета, а потом в тишину летнего дня вклинился трескучий рокот немецкого автомата, приглушенный лесом. Правда, очередь была короткой, однако Даниле хватило понять, что это автоматная очередь. Похожие выстрелы Кольцов слышал в Слободе только что, когда расстреливали молоденьких офицеров и семью Корольковых.

Так мог стрелять только немецкий автомат. Значит, там немцы?

Мужчина присел и уже на корточках перебрался за ствол старой сосны, стал внимательно всматриваться и прислушиваться к лесу.

Так и есть: вот послышался топот, шум пробирающегося сквозь кустарники, бегущего напролом человека, а потом и сам незнакомец заросший, бородатый, в пиджаке на голое тело, с тугим солдатским вещевым мешком за плечами стремительно пробежал почти рядом в сторону соседней деревни Борки.

Данила провёл его взглядом, пытаясь узнать человека, но, нет: на ум никто не приходил с такой походкой, с таким внешним видом.

Но то, что был этот человек молодым, сомнений не возникло: бежал резво, легко, играючи перепрыгнул канаву вдоль дороги.

– Леший? – настолько грязным, безобразным был внешний вид человека. – Лешие не стреляют, – прошептал про себя, – и с сидором за спиной не бегают по лесам.

Крадучись стал продвигаться туда, откуда только что слышны были выстрелы. Не мог Данила просто так пропустить мимо ушей такие события в окрестностях своей деревушки, потому и пошёл.

У небольшой полянки, из – за сломанной молнией сосны услышал стон. Снова замер и медленно, стараясь не хрустнуть веткой, стал пробираться на звук.

Недалеко, почти на перекрестке дорог, на его краю за деревом увидел сидящего на земле красноармейца с перебинтованным левым плечом, с левой рукой на грязной тряпке. Рядом с ним лежал ещё один человек. По знакам различия Кольцов понял, что это какой-то начальник, да и старше возрастом, потому как седой весь...

Раненый солдат уронил голову: то ли уснул, то ли потерял сознание. Данила ещё с минуту наблюдал за ним, и, убедившись, что тот не двигается, стал тихонько подкрадываться, поминутно останавливаясь, стараясь не вспугнуть.

Когда до красноармейцев оставалось не более каких-то двух шагов, раненый медленно поднял голову и встретился взглядом с глазами Данилы. Тут же попытался вскинуть автомат, но сил уже не было, и снова уронил голову, как уронил и оружие, а затем и сам упал, непроизвольно прикрыв собою лежащего рядом товарища.

Кольцова прошибло потом: этого человека он уже где-то видел! Видел в той ещё довоенной жизни! Хотя и заросший, измождённый, но знакомый. Так и есть, вспомнил! Это же сын сапожника из Борков одноногого Михаила Михайловича Лосева, Лёнька!

– Леонид, Леонид Михайлович? – то ли спросил, то ли ещё больше уверовал Данила. – Лёня? Лосев?

Красноармеец сделал попытку подняться, что-то наподобие жалкой, вымученной улыбки отобразилось на лице раненого, и тут же снова уронил голову.

– Вот тебе раз! Вот тебе два! – Кольцов опустился на колени, смекая, как бы ловчее взять одного из них да нести в деревню, к людям, к спасению, к жизни. – Я только что с папкой твоим, с Михалычем говорил, о тебе вспоминал батя. А тут и ты, слава Богу, лёгок на помине. Вот радость-то родителям!

Перешёл к Лосеву, стал прилаживаться поднять его, но Лёнька замотал головой, показывая глазами на товарища.

– Командира, командира, дядя Данила, – выходит, Леонид тоже узнал его, Данилу Кольцова. – Потом, меня потом, – закончил еле слышно, и тут же упал набок, застыл в забытии.

Данила поднял старшего товарища, встал в раздумье: куда нести? Домой? Надо перейти улицей, и неизвестно, кто его сможет увидеть с такой необычной ношей? Хорошо, если добрый человек, а если нет? Вон, в округе, сколько листовок разбросано с требованием не укрывать красноармейцев, командиров, комиссаров и евреев. И за всё приговор один – смерть! Да и в Слободе наглядный пример только что смотрел, век бы такого не видеть. Однако и люди изменились с начала войны: кто его знает, что у кого на уме?

Вроде в Вишенках таких гадких людишек быть не должно, но чем чёрт не шутит? А вдруг? Тут надо исключить всякие неожиданности.

Думал, решал, а ноги сами собой несли к бывшему подворью покойного деда Прокопа Волчкова. Оно примыкает к лесу, можно без оглядки пройти к нему. Дом давно развалился, дочка разобрала и вывезла брёвна в Пустошку, а вот погреб сохранился, хотя и просел маленько. И сад остался стоять, хороший сад, со старыми, но плодоносящими яблонями и грушами, с вишнями по периметру. До сих пор Кольцовы с Гринями сажают в этом огороде картошку. А вокруг погреба сильно разрослись крапива, полынь да лопухи. И только узкая тропинка вела к погребу, который нет-нет, да использовали или Грини, или Кольцовы для своих нужд.

Шёл сторожко, поминутно оглядывался, стоял, прислушиваясь к деревенским звукам, и, только убедившись, что всё тихо, продолжал движение.

Уже перед самым входом в погреб вдруг обнаружил соседа и родственника Ефима Гриня за плетнём, который вёл на веревке корову к дому. И Ефим заметил, как в нерешительности топтался Данила перед погребом со столь необычной ношей, и всё понял: скоренько привязал скотину к забору, бросился на помощь.

Кольцов по привычке, было, хотел ответить отказом, грубо, но сдержал себя, понимая, не тот случай, что без посторонней помощи не обойтись: двери погреба были приткнуты снаружи палкой, надо её убрать, отворить дверь. Сделать это с раненым на руках было трудно.

– Открывай, чего стоишь?! – сквозь зубы произнёс Данила, и отвернулся, чтобы не видеть злейшего врага.

Ещё через какое-то время дверь уже была открыта, и Данила с помощью Ефима уложил раненого на подстеленную Гринем охапку свежей травы.

– Я – до доктора Дрогунова в Слободу, – снова процедил сквозь зубы, не глядя на соседа, Данила. – Там, у Горелого лога под сосной со сломанной вершиной, что у развилки, раненый Лёнька Лосев, сын Михал Михалыча, сапожника одноногого Борковского.

– Возьми мой велосипед: так будет быстрее, – тоже не глядя на Кольцова, но с видимой теплотой в голосе произнёс Ефим.

Гринь прикрыл дверь, приставил палку и, как бы между прочим, направился к Горелому логу.

Почти десять лет минуло с той поры, как Данила узнал об измене жены с лучшим другом и соседом Ефимом Гринем. И за всё это время ещё ни одного раза они не заговорили по нормальному друг с другом, хотя продолжали жить рядом, по соседству. Жёны, дети общались, как ни в чём не бывало, а вот мужики... Правда, Ефим несколько раз пытался помириться, делал попытки, даже однажды становился на колени перед старым другом, но...

Надо было знать Данилу, чтобы уверовать в скорое примирение. Однако как-то прижились, смирились, а вот сегодня заговорили, заговорили впервые за столь долгое время.

Доктор приехал к исходу дня на запряжённой в возок невзрачной коняшке, остановился у дома Кольцовых. Встречал сам хозяин, сразу повёл в дом.

Сын Никита только что на деревне растрезвонил сверстникам, что с мамкой что-то стало плохо, худо совсем, мается то ли животом, то ли ещё чем, вот папка и поехал в Слободу к доктору на велосипеде. А что бы и дети не заподозрили подвоха, Марфа и на самом деле прилегла за ширму на кровати, стала стонать, жалиться на страшные боли внутри.

Дрогунов заночевал в Вишенках, не стал возвращаться домой в Слободу, боясь комендантского часа. Раненых навестил только ночью, когда исключена была всякая случайность. Даже фонарь стали зажигать уже внутри погреба, что бы не привлекать лишнего внимания.

Там же было решено, что из прохладного, сырого погреба раненых необходимо поместить в чистое, сухое и тёплое место, но, самое главное, безопасное. Дом Кольцовых сам доктор отмёл как очень рискованный.

– Ни дай Боже, Данила Никитич, кто-то донёсёт немцам, а у тебя вон какая семья. Нельзя рисковать, сам понимаешь.

– А что ж делать? – развёл руками Данила, соглашаясь с убедительными доводами Павла Петровича. – Как же быть? Куда? Может, в сад, в шалаш?

В колхозном саду, где Данила был и садовником и сторожем, стоял ладный, утеплённый шалаш.

– Ко мне, к нам, – уверенно и твёрдо предложил присутствующий здесь же Ефим. – Ульянку можно на всякий случай к Кольцовым, а раненых – к нам.

– Дитё, ведь, бегать будет туда-сюда, увидит, вопросов не оберёшься, – предостерёг Данила. – А что знает дитё, то знает весь мир.

– А мы замкнём переднюю хату, да и дело с концом. А ещё лучше, что бы Фрося твоя уговорила Ульянку пожить с вами хотя бы с неделю, а там видно будет.

– Нет, так тоже дело не пойдёт. Детишки – они любопытные, мало ли что...

– Правильно, – поддержал доктор. – Давайте-ка лучше в Пустошку, к Надежде Марковне Никулиной, так надёжней будет. Она одна живёт, на краю леса, да ещё и бывшая санитарка, а теперь и знахарка, травки-отвары всякие, а это в наше время при отсутствии лекарств первейшее дело. Да и женщина она проверенная, калач тёптый, наш человек.

Решили не откладывать в долгий ящик, и в ту же ночь отвезли раненых в Пустошку. Сопровождать доктора в таком рискованном деле взялись и Данила с Ефимом, на всякий случай вооружившись винтовками, что привезли ещё с той, первой войны с немцами. Мало ли что? Сейчас по лесам помимо добрых людей шастают и тёмные людишки. Вон, по полудни, когда Данила обнаружил Лёньку Лосева с командиром... Тоже какой-то леший шарахался в окрестностях, стрелял в красноармейцев. Так что, охрана не помешает.

Уже ближе к рассвету, когда вдвоём вернулись обратно в Вишенки, доктор остался на ночь в Пустошке при раненых, Данила ухватил Грinya у калитки своего дома за грудь, притянул к себе.

– Ты, это, не особо-то: враг ты мне, вра-а – аг! – резко оттолкнув соседа от себя, решительно шагнул в темноту.

– Дурак ты, Данилка, ду-у – рак! – успел крикнуть вслед Ефим, и ещё долго стоял на улице, вслушиваясь в предрассветную тишину, усмехаясь в бороду.

«Вот же характер – то ли осуждающе, то ли восхищённо заметил про себя Ефим. – Это сколько же лет прошло, а всё никак не умирот гордыню. Ну – ну... Хотя, кто его знает, как бы я поступил?».

А Вишенки притихли, притаились, ушли в себя за эти начальные месяцы войны.

Правда, это только на первый взгляд могло показаться, что в страхе замерла деревенька, на первый взгляд это. И для неопытного человека это, который плохо знает местных жителей. На самом деле она не просто притаилась, притихла. И совсем не в страхе, а в надежде на торжество жизни. В страхе за жизнь бороться трудно, почти невозможно. Бороться за жизнь надо без страха, с надеждой на торжество жизни, а не смерти.

Остерегаться? Да, это так. Надо остерегаться, готовиться к худшему, но надеяться надо только на хорошее, на успех, на победу добра и справедливости над злом, что в серых мышастых мундирах вторглось в тихую, размеренную жизнь затерянной среди болот и лесов на границе России и Белоруссии деревни Вишенки. Притихшая, но не остановившаяся жизнь продолжает течь, бурлить, может быть не сразу заметная постороннему человеку, случайному путнику или незваному гостю. Но она есть! Она идёт!

Ещё в первые дни, когда объявили мобилизацию, успели призвать или ушли добровольцами на фронт молодые, подлежащие призыву мужики и парни, а потом как-то сразу, быстро появились немцы, и ни о каком призыве уже и не шла речь.

Правда, с молодыми ушёл и председатель колхоза Сидоркин Пантелей Иванович, хотя никто и не призывал в его-то шестьдесят с хвостиком лет. Сам, добровольцем! Схватил котомку, закинул за плечи, да и пошёл вслед молодёжи. Говорит, на той войне в четырнадцатом году, не отучил вражье племя с Россией воевать, пойду, мол, исправлять свои ошибки. Да и молодёжи подсобить надо. А то она, молодёжь, вдруг без него не осилит, или, не дай Боже, дрогнет, а тут и он придёт на помощь: если потребуется – устыдит, а то и покажет, что да как надо с этими немцами. Всё ж опыту него, Пантелея Ивановича, не маленький. Прошлую немецкую войну прошёл с самого начала и до революции, с окопов не вылезал всё это время.

Ефим который день вместе с несколькими трактористами снимают запчасти с колхозной техники, что не попала под призыв в Красную Армию. Об этом наказал, уходя, председатель колхоза Пантелей Иванович.

– Схорони, Ефим Егорович, потом, после победы люди тебе будут благодарны. Вот так вот. Прячь по разным местам, да смотри, что бы помощники были надёжными, не выдали что-б. Вернусь с победой – спрошу, как следует!

В помощники взял себе Вовку Кольцова да Петьку Кондратова, сына Никиты. Вроде, хлопцы надёжные, хотя Вовка уж больно непоседлив, нетерпелив.

Петька прямо перед войной женился на дочке Данилы Кольцова Агаше. Это сестра Вовкина. Двадцать второго июня свадьба была, а тут война. Вот что делается.

Решили, было, сразу со свадьбы и проводы сделать, так в сельсовете отбой дали: говорят, тракторист, призовут после. А оно вон как получилось... Немцы уж слишком быстро нагрянули, не успели призвать.

Три трактора своим ходом загнали на болото за Горелым логом, что в лесу, да и притапили в разных местах. Конечно, потом тоже разобрали, сняли всё, что можно было. Так что, если даже враг и обнаружит, то завести их, запустить уж точно не сможет. А вот он, Ефим, сможет! Потому как знает, где и что лежит, куда и что прикручивать. На всякий случай прятали детали все вместе: Ефим Егорович, Петька, Вовка. Война ведь, чего зря рисковать. Мало ли что может случиться? А так есть надежда, что хотя бы один из них да выживет, дожждётся победы.

Прицепные тракторные жатки отвезли на луга к Волчьей заимке, припрятали там. Жаль, винзавод остался почти целым. Так, пришли сапёры, взорвали динамо-машину, что электричество давало не только на завод, но и Вишенки с Борками по вечерам освещались электрическим светом. Подрывники весь минировать не стали.

– А, может, и правильно? – рассуждает сам с собой Ефим Егорович Гринь. – Что с оборудованием сделается? С прессами да с ёмкостями? Простоят, дождутся лучших времён. А без генератора, без электричества, немцы вряд ли смогут запустить. Хотя, кто их знает, немцев этих? Что у них на уме? Вон, приказали срочно проводить уборочную. И кто объявился? Смех и грех, ей Богу! Сбежавший было ещё при коллективизации первый председатель комитета бедноты в Вишенках, первый председатель колхоза Кондрат-примак! Казалось, сгинул, канул бесследно. Однако, видно, такие люди не гибнут. Оно не тонет ни при какой власти! – Ефим в очередной раз хмыкнул, покачал головой. – И не Кондрат-примак он вовсе, а Кондрат Петрович Щур, господин бургомистр! Вот так вот, это тебе не фунт изюму, а сам бургомистр, глава районной управы! Толстый, обрюзгший, но всё такой же наглый, напористый.

Под охраной немецких автоматчиков собрали тогда жителей Вишенок, бургомистр лично зачитал приказ немецкого командования.

«Отныне всё имущество колхоза „Вишенки“, включая поля с урожаем, принадлежит великой Германии со всем движимым и недвижимым имуществом. А полноправным представителем новой власти является районная управа».

В приказном порядке с подачи районного бургомистра назначил Никиту Кондратова по старой памяти за старшего над Вишенками, приказал приступить к уборке. Могли бы и председателя колхоза, но где он, кто знает? Да и коммунист Пантелей Иванович, а эта должность подрасстрельная по нынешним временам. Убили бы всё равно, как в Руни расстреляли председателя колхоза.

Остался председатель, не эвакуировался, не спрятался, думал, будет всё по – хорошему, по правилам. Надеялся, что немцам нужны будут управленцы. Куда там! Расстреляли в первый же день, как появились в деревне оккупанты.

А он, покойный, наивный, сам и вызвался продолжить председательствовать. Говорит, мол, член партии большевиков, председатель колхоза «Рассвет» Семён Николаевич Юшкевич, прошу любить и жаловать, уважаемые немцы. Какие, мол, будут указания? Готов предложить вам свои услуги, помощь, так сказать.

Так они его в тот же момент и к стенке, расстреляли сразу же, и слова в оправдание не дали сказать.

А тут в Вишенках Никиту назначили в добровольно-принудительном порядке.

– Побойся Бога, Кондрат, – закричал в тот момент Никита. – Какой из меня начальник? Стар я, да и грамоте не обучен. Тут голова должна варить ещё как!

– Запомни, мужик! Не с Кондратом-примаком разговариваешь, а с самим бургомистром, с господином бургомистром! – вдруг, разом побледнел, стал белее мела бургомистр. – А ну – ка, парни, – обратился к группе полицаев, что прибыли вместе со Щуром, – всыпьте хорошенько этому человеку. Пускай все знают, что ко мне надо обращаться «господин бургомистр», и перечить тоже нельзя, если жизнь дорога.

На виду у всей деревни избили Никиту, приставили к стенке канторы.

– Вот так будет лучше, надёжней, – довольный, бургомистр окинул взглядом притихшую толпу. – Следующий вид наказания – расстрел! Сами должны понимать, что неисполнение приказов немецкого командования и районной управы – это тяжкое преступление. И оно карается одним – расстрелом. Поэтому, что говорить и что делать – отныне будете знать твёрдо.

Сегодня же обмерить все поля колхоза с точным указанием, где, что и сколько посеяно. А чтобы вам не было повадно, оставляю в Вишенках как контролирующий орган отделение полиции во главе с Василием Никоноровичем Ласым. Он будет полноправным представителем и немецкого командования, и представителем районной управы, – указал рукой на топтавшихся рядом группу полицаев, выделив немолодого уже, лет под пятьдесят, мужика с винтовкой, в чёрной форменной одежде.

– Через две недели у меня на столе в управе должны лежать все данные о ходе уборки урожая 1941 года. Но! Никакого воровства, обмана быть не должно! Всё до последнего зёрнышка убрать, смолотить и отчитаться. Только потом будем вести речь о выплате трудодней. Учтите, это вам не советская власть, а немецкий порядок.

– И сколько, мил человек, господин бургомистр, мы будем иметь на один трудовень? – спросила Агрипина Солодова, бывшая сожительница Кондрата-примака. И тон, и то выражение мести и справедливости, что застыло на лице молодницы, не предвещали ничего хорошего. Ещё с первого мгновения, когда женщина увидела такого начальника, глаза заблестели, губы хищно жались, тонкие ноздри подрагивали в предчувствие большого скандала.

– Иль мне по старой памяти поблажка будет, ай как? Всё ж таки тебя, страдалец, сколько годочков кормила, от деток отрывала. А ты, негодник, сбёг! Сейчас ты снова в начальниках, как и хотелось твоей душеньке. А мне как жить старой, немощной? Долги-то отдавать надо! Не за бесплатно же обжирался у меня, прости, Господи, детишек моих родных объедал, харю наедал, что хоть поросят бей этой рожей, такая жирная была, не хуже теперешней.

– Заткните поганый рот этой бабе! – прохрипел Кондрат, не ожидавший такого подвоха от некогда приютившей его женщины.

– Халда! Шалава!

– К-к-как ты сказал? – взвилась Агрипина, уперев руки в бока.

Ни для кого не секрет в Вишенках, что сварливей и скандальней бабы в деревне не сыскать, а тут такой повод... Грех, истинно, грех не воспользоваться, не отыграться за порушенные надежды, что когда-то возлагала она на этого мужчину.

– Кто я? Как ты сказал? Это я-то халда и шалава? А ты-то, ты с мизинчиком меж ног кто? Мужик? Как бы не так! Бабы! Людцы добрые! – женщина перешла на крик, закрутила головой, чтобы слышно было всем, призывая в свидетели земляков. – Да этот боров за всё время ни разу, как мужчина, как мужик так не и смог ублажить меня, а туда-а же-е! – и уже грузным телом торила себе дорогу, пробивалась к Кондрату-примаку.

– Я ж его взяла в примы, приютила, дура. Думала, надеялась, что ублажит, успокоит исстрадавшее тело моё без мужичьей ласки. А он, а он-то, бабоньки!? Елозил сверху своим огрызком, и то по праздникам, тьфу, Господи, а, поди ж ты, гонорится. Я тебе так отгонорюсь, что места не найдёшь, антихрист! Оторву всё, что ещё осталось, что раньше терпела, не оторвала, – и решительно двинулась на бургомистра. – Забыл, холера, чёрт бесстыжий, как я тебя рогачом охаживала?

Кондрат кинулся, было, по старой памяти убежать, но вспомнил вдруг, что он уже и не примак, а начальник, да ещё какой!

Остановился, измерил презрительным взглядом женщину, поджидал, пританцовывая от нетерпения, от предвкушения.

Агрипина налетела из толпы прямо на застывшего в ожидании Кондрата, как он тут же залепил бывшей сожительнице оплеуху изо всей силы. От неожиданности женщина замерла на мгновение, и тут же бросилась с кулаками на Кондрата, успела-таки впиться ногтями в жирное, обрюзгшее лицо сожителя.

– Хлопцы-ы! Хлопцы-ы! – заблажил бургомистр. Такого поступка, такой наглости он не ожидал: что бы на представителя власти и с ногтями!? И при народно?!

– Чего ж стоите? В расход курву эту! В расход! – и всё никак не мог сбросить, отцепить от себя Агрипину.

И жители, и полицаи, и даже немецкие солдаты заходились от хохота, наблюдая за тщетными потугами бургомистра освободиться, избавиться от женщины, от такого принародного позора.

– Я тебе дам курву! Пёс шелудивый! Огрызок! – не унималась женщина, всё так же продолжая нападать на Кондрата, раз за разом доставая ногтями лицо противника. – Я тебе покажу и халду, и шалаву!

Ефим видел, как бургомистр выхватил пистолет из кобуры, и тут же раздались выстрелы.

Агрипина ещё с мгновение недоумённо смотрела на бывшего сожителя и начала оседать на землю всё с тем же застывшим недоумённым выражением на лице.

Тело женщины уже лежало у ног Кондрата, а он всё стрелял и стрелял с неким упоением, злорадством, остервенением.

– Вот тебе! Вот тебе! Шалава! Шалава! Халда! Халда! Курва!

Курва!

И даже когда вместо выстрела прозвучал холостой металлический щелчок, бургомистр всё ещё тыкал пистолетом в неподвижно лежащее тело бывшей сожительницы.

Смех мгновенно сменился ужасом, тяжёлым вздохом, что пронёсся над площадью у бывшей колхозной конторы. Такого здесь ещё никогда не видели, и потому растерялись вначале. Для них было диким вот так с людьми... В Вишенках не понимали, что так можно...

Несколько полицейских бросились к начальнику, повисли на руках, Ласый отнял пистолет, отвёл Кондрата в сторону, что-то нашёптывая на ухо. Немецкие солдаты с интересом продолжали наблюдать, переговариваясь между собой и посмеиваясь над этими непонятными русскими варварами.

– *Rusiche sweine! Veih!* – показывали пальцами на лежащую на земле женщину, громко смеялись. – *Fraunzimmer! Zankisches Weib!* (Русские свиньи! Скоты! Баба! Вздорная баба!).

И тут над площадью раздался душераздирающий крик: к лежащей на земле матери кинулась младшая дочь Агрипины Аня.

– О-о-ой ма-а-аменька-а-а-а! – заголосила, заламывая руки, упала на мать, обхватила, обняла, запричитала.

К ней присоединились голоса и её детей, внучек Агрипины, девчонок семи и десяти лет, что облепили Анну с двух сторон.

Сначала женщины из толпы колыхнулись, было, сделали попытку приблизиться к лежащей на земле Агрипине, прийти на помощь, за ними и мужики двинулись следом, как над головами раздались автоматные очереди.

– *Halt! Zuruck!* – немецкие солдаты начали теснить толпу обратно.

– *Schweine! Veih!*

Люди отхлынули, в страхе теснее прижимались, искали защиту друг у друга.

Это была первая смерть в Вишенках сначала войны, и все вдруг ясно и отчётливо поняли к своему ужасу, что не последняя, судя по поведению и полиции, и немцев. И потому интуитивно прижимались друг к дружке, всё явственней осознавая, что спастись в одиночку будет трудно, почти невозможно, а вот сообща, вместе со всеми... Была надежда, не так было страшно, когда все вместе, на миру...

– Ну, вы поняли, сволочи, что ожидает того, кто смеет поднять руку на законного представителя оккупационной власти? – Кондрат к этому времени оправился, и, чувствуя поддержку и защиту со стороны немцев, опять взирал на притихшую толпу, гневно поблескивая заплывшими жиром глазками. На щеках ярко выделялись глубокие царапины, наполненные кровью.

– Напоминаю! С завтрашнего дня приступить к уборке! Головой отвечаете! – и направился к ожидавшим машинам, по пути пнув ногой лежащую на земле бывшую сожительницу.

– Шалава, курва, халда! Она ещё будет... – бормотал себе под нос бывший первый председатель колхоза в Вишенках Кондрат-примак, а ныне – бургомистр районной управы Щур Кондрат Петрович. – Все-е-ем покажу! Вы ещё не знаете меня, сволочи. По одной половине... это... дышать через раз... Шкуру спущу с каждого, если что, не дай Боже. Будут они тут...

Данила, Ефим и ещё несколько мужиков остались на площади, отнесли тело Агрипины Солодовой в избу; женщины принялись готовиться к похоронам, сновали от избы к избе; строгал рубанком сухие сосновые доски деревенский плотник дед Никола, ладил гроб.

Полиции поселились в доме Галины Петрик, выселив хозяйку в хлев. Готовить им, прибирать в хате приказали старшей дочери Гали тридцатилетней Полине, что жила по соседству с матерью. Дочь пыталась забрать мать к себе в дом, так старуха воспротивилась.

– А кто ж за избой присматривать будет? Они ж, окаянные, ещё сожгут по пьянке, антихристы, чтоб им ни дна, ни покрывки. Ты на рожи их глянь: это ж пьянь несусветная, это ж бандиты, печать ставить некуда.

Оставшийся за старшего полицией Ласый Василий Никонорович зашёл в контору колхоза, долго беседовал с Никитой Кондратовым, инструктировал, что да как должно быть с уборкой.

– Смотри мне, человеке! – напутствовал Никиту. – Я не знаю, какие у вас были отношения с господином Щуром. Мне это неинтересно, наплевать и размазать. Мне моя жизнь во сто крат важнее и ближе твоей и всей деревни вместе взятой. Так что, не вздумай шутковать: себе дороже. У меня разговор будет ещё короче, чем у пана бургомистра с этой бабой: в расход без предупреждения. Понятно я говорю? Переводчик не нужен? – полицией сунул к лицу Никиты большой волосатый кулак.

– Да-а уж... – Никита Иванович ещё не отошёл от принародного избиения, от расстрела ни в чём неповинной Агрипины. Был ещё в шоковом состоянии, не до конца осмыслив происходящее и потому лишь отвечал неопределённо, то и дело пожимая плечами. – Да-а уж... вон оно как...

Ближе к вечеру на этот край деревни к Гриням и Кольцовым прибежал внук Акима Козлова десятилетний Павлик.

– Деда сказал, что после вечера будут собираться все наши на Медвежьей поляне. Велел вам об этом сказать. И чтобы поспешали.

Так теперь в деревне называли то место, где медведица когда-то напал на Ефима Гриня.

– А кто будет, не знаешь? – поинтересовался Данила.

– Бригадиры, учётчик и другие мужики, – ответил малец. – А вообще-то собирает новый председатель деда Никита Кондратов.

Сидели кружком, курили, ждали остальных. Последним пришёл сам Никита Иванович с сыном Петром.

– Вот оно как, земляки, – не присаживаясь, начал Никита. – Кто бы думал, что такое будет твориться в Вишенках? Мне, честному человеку, ни за что, ни про что прилюдно морду набить? Это как понимать? Женщину принародно расстрелять? Так они и до остальных доберутся, никого в живых не оставят. Что делать будем?

Никто не ответил: сидели, низко опустив головы, думали.

– Чего ж сидеть? – поторопил Никита. – Ничего не высидим, надо что-то делать.

– Оно так, – начал Ефим. – Только не знамо, как и что делать, вот вопрос. Эта власть шутить не будет, судя по всему. Значит, надо убирать. Но как?

– Примаки с немцами не сеяли, а почему урожай им отдавать надо?

– сын Никиты Петро встал в круг, обвёл взглядом сидящих земляков. – А нам как жить?

– Всё правильно говорит Петро Никитич, – поддержал его Корней Гаврилович Кулешов, старший лесничий. – Всё правильно, людям жить надо, зиму зимовать, да и о будущей весне думка быть должна: посевная, то да сё. И до нового урожая прожить надо.

– Так что ты предлагаешь? – спросил Никита.

– Я не всё сказал, – махнул рукой Корней. – Тут все свои, надеюсь, Иуд серёд нас нет?

– Ты к чему это? – подался вперёд Аким. – Вроде, все проверенные, знаем друг дружку давно. Потому и пригласили не всю деревню, а только тех, кто надёжней. Как ты и просил, Корней Гаврилович.

– Я к тому, – продолжил лесничий, – что на днях я разговаривал с серьёзными людьми. Так вот, говорят они, что собираются надёжные хлопцы, вооружаются, будут воевать против немцев, помогать нашей родной Красной армии здесь, в тылу, в лесах жить намерены. Партизанами себя называют, вот так, друзья. Я к тому, что и им, партизанам, надо что-то есть-пить. Люди-то наши, и за общее дело, за свободу нашу воевать идут. Тут как не крути, а кормёжка должна быть хорошей и про запас. И вы, ваши Вишенки не должны остаться в стороне.

– Да-а-а, дела-а, – Никита хлопнул по ляжкам. – И почему всё на мою голову?

Сидели долго, пока хорошо не стемнело. Решали и так, и этак... Но одно знали твёрдо: урожай необходимо собрать. Грех, тяжкий грех оставлять неубранными поля. Земля не простит. Но и немцам отдавать? Не могло такое укладываться в головах местных мужиков.

Разошлись в темноте, однако решения приняли.

С завтрашнего дня полеводческая бригада уйдёт жать серпами рожь. Ей в помощь пойдут доярки, скотницы, поскольку скот угнали за Днепр в первые дни войны, и они пока не у дел. Да и всё женское население Вишенок, кто ещё хоть как может держать серп в руках, пускай выходят на поля. Снопы свозить станут на ток, молотить будут потом, уже после уборки. Можно было попытаться восстановить старые лобогрейки, что валяются на колхозном дворе за ненадобностью вот уже который год, так проблема с лошадьми для них. Туда запрягать-то надо тяговитых, здоровых коней, а где их взять, если остались только бракованные да молодняк? Да и сколько времени потребуется на восстановление – неизвестно. А его, время это, терять ох как нельзя. Значит, надежда только на баб да на серпы. Куда деваться? Испокон веков спасали бабы с серпами, даст Бог и сейчас не опростоволосятся, сдюжат.

– Бабы – они... бабы. Они... не нам, мужикам, чета, – подытожил решение об уборке Аким Макарович Козлов. – От баб мир... это... пошёл, им, бабам нашим, и серпы в руки. А мы уж... на подхвате...

На очереди за рожью и пшеница. Картошку уберут под плуг.

Чтобы не было проблем с оплатой по трудодням, решили не ждать милости от новых властей, а будут тащить домой после рабочего дня столько картошки или зерна, сколько смогут унести и не попасться на глаза полициям. Другого способа запастись продовольствием для жителей Вишенок нет, как нет и веры немцам с полициями.

– Убери, сложи урожай в амбарах, а они заберут, вывезут в свою Германию, а ты подыхай с голоду. Не-е-ет! Так дело не пойдёт, – Ефим Егорович высказал и свои сомнения относительно трудодней.

– Всё правильно: тащить в дом надо каждому. Пусть каждый житель сам о себе и позаботится. Правления колхоза нет, некому выписывать со складов провиант.

– Да, и колхозникам надо объяснить, – напомнил Кулешов, – чтобы аккуратно тащили по домам с полей. А то я их знаю: среди белого дня начнут друг перед другом соревноваться – кто больше. Ещё полицаи увидят.

Обмолоченные пшеницу и рожь загрузят сначала в амбары, предварительно сделав хорошие запасы будущим партизанам. Старым да немощным жителям постараются выделить из этих же запасов. Ответственным за это дело, за снабжение партизан, назначили Данилу Кольцова. Куда можно будет перепрятать – это вопрос будущего, но всё равно за это отвечать будет Данила Никитич.

Картошку станут хранить в буртах прямо на поле, не забыв сделать тайные хранилища там же, выкопав ямки, переложив картошку соломой, укроют землёй. Отвечать за картошку поставили Ефима Гриня. Вот именно: за уборку будут отвечать бригадиры, а вот за заготовку зерна и картошки для партизан – Данила и Ефим.

Оставшихся после мобилизации выбракованных коней, раздадут по дворам, пускай сам хозяин думает, чем и как прокормить лошадь, обучить молодняк, если требуется. Но по первому требованию он должен и обязан давать любому, кто обратится за помощью, кому нужен

будет конь. И коней беречь! Да-да, это теперь опора в хозяйстве, ничем не заменимая. И потом, они могут пригодиться и на будущее партизанам.

– Так что, к лошадям должно быть самое пристальное внимание и очень бережное обращение, забота. Конь... он... это... конь.

Понимать надо, – напомнил мужикам Корней Гаврилович.

Серьёзную проблему для сельчан будут представлять полицаи. Кондрат-примак наказал им глаз не спускать ни с какой маломальской работы в поле, держать всё под самым жёстким контролем. В случае чего, арестовывать саботажников, воров, доставлять их в комендатуру в Слободе, а то и в районную управу. А уж там... Да-а – а! Эта преграда ещё та, однако, по словам Акима Козлова, нашим ли людям не занимать умения воровать. Тем более, это даже не воровство, а законная необходимость забрать и спрятать своё от немецкого воря. Вот так! И никак по – другому! Это, если хотите, обязанность, святая обязанность забрать как можно больше урожая, не дать его оккупантам.

На том и остановились.

– Они что, дураки, твои немцы и полицаи? – накинулся на Акима Никита. – Прямо, взял и шапками закидал их. Видел, как со мной? А с Агрипиной? Хорошо, рожу мне набили да бока намяли, а если бы расстреляли? И это только не так обратился к Кондрату, будь он неладен. А ты говоришь – тащить всё. Тут надо грамотно: чтобы и козы сыты, и сено цело. Вот как надо.

– Не козы, а козлы, – поправил отца сын Пётр. – Козлы они, однако, папа прав: нельзя вот так по наглomu. Исподтишка всё делать надо, тайно.

– Ты что, о немцах больше печёшься вместе с папкой своим? Может, они друзья ваши? – не сдавался Аким. – Думай, что говоришь! Да наши люди у кого хошь из – под носа уведут, что глаза их увидели, хрен кто учует, углядит, а ты тут развёл кадило вместе с батькой...

Спорили долго, однако, пришли к общему мнению, что спрятать надо будет как можно больше с урожая 1941 года. А что бы скрыть это дело, несколько полей пожечь уже после уборки. Стерня сгорит, и пойдёшь, разберись, когда сгорело? Скажут, бои вспыхивали на колхозных полях, вот, мол, и взялись рожь да пшеничку ярким пламенем. Иль, может, кто поджёт по злему умыслу. Кто ж этого поджигателя искать станет? А стерню оставлять высокой, чтобы было чему гореть.

– Оно так. Только если серед полицаев есть хоть один думающий, хоть один грамотный сельчанин, поймут сразу, что обман. Стерня сгорит, это факт. А где колоски с зерном обгоревшие? Зерно-то не сгорает при пожарах на хлебных полях, а только обугливается. И сам колосок не до конца сгорает, он же в середине сырой. Не мне вас учить, сами знаете, – Аким придавил протезом окурков, втоптал его в землю. – Вон оно как. Тут думать хорошо надо, прежде чем...

– Оно так, – поддержал Козлова Корней Гаврилович. – Оно так, а как по – другому?

– А полицаев куда денешь? Как от них скрыть? – спросил Данила.

– Сам же говоришь, что они будут пропадать на полях вместе с нами. Вдруг спросят, зачем высокой стерню оставляют жнеи?

– А холера их знает, этих полицаев! – в отчаяние Никита Иванович махнул рукой, зло произнёс:

– Вот будет завтра день, там и посмотрим. Нам бы только в драку ввязаться, а там как карта ляжет, сказал бы покойник дед Прокоп Волчков, царствие ему небесное. Иль нам по зубам настучат, иль мы верха сядем.

– Всё равно они везде не успеют, – рассудил Ефим. – Да и ещё ночи будут в нашем распоряжении. Чего уж, как-нибудь...

Собрались, было, расходиться, но некоторых мужиков попросил остаться лесничий Кулешов Корней Гаврилович.

Остались Данила Кольцов, Ефим Гринь, Никита Кондратов с сыном Петром, Аким Козлов и сам Корней.

Отошли глубже в лес, сели кружком, сидели почти до рассвета, но разошлись, довольными.

– Как будет формироваться партизанский отряд – это работа совершенно других людей. Тут из Пустошки многие знакомы с этим делом ещё с продразвёрстки, им и карты в руки, – сразу предупредил лесничий. – Они-то, пустошкинские, и начинают всё. Ещё в первый день войны старики собрались там, решили воевать против немца. Наша задача – тыловое обеспечение: землянки, продукты. А уж оружие, как и что воевать – это уже сделают другие. Придёт пора, вы всех узнаете, увидите. А пока займёмся нашими делами. Или у кого-то другое мнение? – пытливо уставился в земляков Кулешов. – Вы, если вдруг кто дрожь в коленках почувяли, так лучше сразу скажите. Мы поймём, обидок чинить не будем. Всё ж-таки мы все живые люди, жить хотим, чего уж...

– Ты, это, Корней Гаврилович, – Данила Кольцов сильно затянулся папиросой, выпустил дым, – за всех расписываешься, иль только за некоторых?

– Ты это к чему, Никитич? – насторожился лесничий.

– А к тому, – продолжил уже Ефим Гринь. – Неужто только у тебя душа болит, а у нас она каменная? Неужто мы не понимаем, босяки мы, а ты один правильный?

– Правильно говорят мужики, – поддержал и Петька Кондратов. – Мы, дядя Корней, уже собирались с парнями, обсуждали это дело. Планировали, было, самим объединиться да уйти в леса, а тут и ты, слава Богу, со своими думками и планами. Вот и будем сообща уничтожать врага. Иль не примите нас?

– Не обижайтесь, холера вас бери, – вроде как оправдывался Корней Гаврилович, но видно было, что ему приятны слова понимания со стороны земляков. – Однако я должен был сказать вам такое. А вдруг и на самом деле кто струсил, что тогда? В нашем деле добровольность – в первую голову. Нам сейчас важно не только думать и делать разом, а и дышать теперь вместе будем, и помирать, если, не дай Боже, придётся, то тоже вместе.

– Ладно, считай, что уговорил. Давай по делу, – подвёл черту в споре Никита Кондратов. – Неужто мы смотреть будем, как топчут Русь нашу, убивают жёнок наших? Выходит, ты один лучше нас всех? А мы так, пальцем деланные, на завалинке будем сидеть да пальцем в носу ковыряться?

Корней Гаврилович уже присмотрел несколько потаенных, глухих мест в окрестных лесах, где можно будет оборудовать партизанские лагеря. Сейчас нужны люди для обустройства землянок. Сообща решили и выбрали группу надёжных мужиков одиннадцать человек, они и займутся землянками, схронами под продукты: зерно, картошка и так далее. Каждую кандидатуру обговаривали отдельно, выслушивали мнение всех. Предварительно Корней Гаврилович уже говорил с предполагаемыми строителями, получил личное согласие. Они не только с Вишенок, но есть и из Борков, из Пустошки, Руни. Договорились, что в одном месте продукты прятать не станут: кто ж яйца в одном коробе держит? И желательно, чтобы Корней Гаврилович вёл строителей по лесам как можно запутанней, на всякий случай. Пусть пройдут лишний десяток километров, зато запутаются, потом сам чёрт без попа не найдет и не скажет где были, где эти землянки копали, строили. Чем меньше людей будут знать места землянок, схронов, тем целее и сами партизаны будут, и продукты улежат. А ещё лучше, чтобы бригады были с одного-двух человек. И на каждый лагерь, на каждый схрон одна бригада. Больше ничего она не должна строить. Надёжней. Люди они и есть люди: кто в голову кому заглянет, думки прочитает? Даже если что вдруг, так только одно какое-то место сможет показать тот подленький или слабый человек.

С такими убедительными доводами согласились все. Споров вокруг этого не возникло.

В нужный момент лесничий скажет, кому что завозить, и вот тогда уж или Ефим Егорович, или Данила Никитич должны будут организованно, быстренько и тайком затарить схроны картошкой, зерном.

– Особый вопрос – что делать с семьями? Тайной долгой для фашистов не будет, что мужики из Вишенок подались в лес. А вдруг немцы захотят отыгаться на семьях? Тогда как? Вот то-то и оно! Вон, в Слободе, Данила Никитич обсказал, как обошлись с семьёй Володьки Королькова немцы, что спрятала раненых комиссаров. Неужели наши семьи пожалеет немец, сжалится, войдёт в положение? Значит, надо и семейный лагерь где-то в укромном месте организовывать. Чуть что – и все жители Вишенок скрылись в неизвестном направлении! А пока надобно не дразнить гусей, немцев то есть, чтобы деревенька была образцом порядка. Никаких конфликтов с немцами, с полицией. Работать как на отца родного, но уж когда уберём урожай, то тогда держись, волчье племя! В тихом омуте... – это наша, русская поговорка.

Почувствуют гады на своей шкуре, – подвёл итог Корней Гаврилович.

Уже в конце сходки, когда собрались расходиться, Никита Иванович Кондратов попросил завтра зайти к нему в контору тех, у кого есть жернова, самодельные крупорушки.

– Лихие времена наступают, – пояснил своё требование. – Надо ко всему быть готовым, и такие инструменты держать на строгом учёте.

– Да, чуть не забыл, – вернулся с полдороги и Кулешов. – Хорошо, вспомнил. У кого и где есть радиоприёмники – обязательно обскажите мне, и постарайтесь сберечь их. Так надо.

И правда. В первые дни оккупации вышел приказ коменданта майора Вернера о добровольной и обязательной сдаче радиоприёмников, ружей. Там, в Слободе, немцы сразу же забрали их из почты, со школы, из сельсовета, из колхозной конторе тоже. А вот в Вишенках опоздали: Вовка Кольцов успел-таки раньше всех, сообразил первым, приволок домой радиоприёмник «Колхозник» БИ-234, и теперь он лежит в погребе деда Прокопа Волчкова. Говорит, что и батарейки запасные с ним были. Это он Ефиму рассказал, когда прятали трактора в лесу.

– Вся деревня видела, когда нёс? – поинтересовался Ефим в тот раз.

– Дядя Ефим! – обиделся парень. – И когда только ты меня за взрослого считать станешь?

– Как делать будешь по – взрослому всё, как твой старший брат Кузьма, тогда.

– Всё! Начинается! – снова обиделся Вовка. – Дома покоя не дают с этим Кузей, а сейчас и ты. Все в пример ставят: ах, какой он хороший! И когда только все поймут, что Кузьма – это Кузьма, а я – это я? Подними глаза, дядя Ефим, посмотри на меня, кто перед тобой: Вовка Кольцов или Кузьма? Вот то-то же. А то уже замучили: будь как Кузя, будь как Кузя! Вы скоро своими придирами рассорите нас с братом.

Над Вишенками стояла ночь, наполненная тусклым звёздным светом и тревогой. Тревогой за день завтрашний, за последующие дни. Притихла деревенька, ушла в себя, затаилась, себе на уме. Только Деснянка всё так же бежала, катила свои воды мимо, подтачивая на повороте высокий крутой берег. А он и правда, потихоньку осыпался, обнажая всё больше и больше корней вековой сосны на краю берега, что у Медвежьей поляны. Уже не только мелкие, тонкие корни её обнажились, но и явились миру часть корней старых, толстых, заскорузлых, что десятилетиями удерживали дерево по – над обрывом. Пока ещё держали, но река своё дело тоже знала, подтачивала, постепенно сводя на нет усилия корней, лишая их опоры.

Ночь. Лето. Первое лето войны. Но на востоке брезжило рассветом. Серело. Туда, на восток, смотрели мужики, что стояли, плотно прижавшись плечом к плечу на высоком берегу реки Деснянки.

Ещё один день прожили под оккупацией. Каким будет день завтрашний? Готовились...

Глава третья

Так дружно женщины не выходили на уборку урожая даже при колхозе, до войны.

Прямо на рассвете, когда хозяйки только-только собирались идти в хлев доить своих коров, как уже Никита Кондратов и Аким Козлов пошли делать обход по деревне, заходили в каждый двор, в каждый дом, где была хоть какая-то женская душа.

– В поле, бабоньки, в поле. Жать рожь, а потом и за пшеничку возьмётесь. А сейчас рожь, бабы, рожь надо убрать, в наших интересах это, – наставлял хозяйку Никита. – Только работать надо как никогда хорошо, понятно я говорю?

– С чего это рвать пупа на немца, Никита Иванович? – иногда спрашивала хозяйка. – Чай, не на отца родного с мамкой родной пластаться в поле надоть?

– Потом всё обскажу, моя хорошая. Это для себя, для нас, а не для германцев. Так надо, поверь.

С такими же речами по противоположной стороне улицы передвигался на самодельном протезе с обязательным батожком в руках и Аким Козлов, убеждал молодёжь. И они поняли, поняли правильно, и вышли на уборку и стар, и млад. Да и как не выйти, если просят такие уважаемые в Вишенках люди как Аким Макарович да Никита Иванович?! Да ещё наказали, что бы каждая жнея брала домой с поля столько зерна, сколько унести сможет и не попасться на глаза полиции.

– Как тут не пойдёшь? – Марфа уже перекусила, вылезла из – за стола, а сейчас ждала остальных. – Это тебе не колхоз, по трудодням вряд ли что достанется, а жить-то надо. Вот оно как. Мёртвый, а пойдёшь. Спасибо и на том, что хотя бы предупредили, надоумили... Тут ещё и торбочки подготовить надо. А во что зерно для себя набирать? И подумать, куда их спрятать, чтобы, не дай Боже, полицаи не заметили. Собирайтесь, девки, небось, вся деревня в поле, а мы всё чешемся... нам принесут...

Марфа, Глаша, дочка Марфы Агаша жали рядом, шли друг за дружкой с краю поля, что граничит с Борковским картофельным полем. Четырнадцатилетняя Фрося жала на ровне со взрослыми, хотя отец и не хотел отпускать её.

– Пусть бы дома была, в своём огороде дел невпроворот. Да и дитё ещё вроде как...

Фрося на самом деле была по росту самой маленькой среди остальных детей Кольцовых. В свои четырнадцать лет чуть-чуть опережала ростом одиннадцатилетнюю сестру Таню.

– Успеется в огороде, отец, – рассудила Марфа. – По вечерам управимся с ним, никуда не убежит. А тут лишний килограмм зерна не помешает, сам знаешь. Дитё говоришь? Так и оно есть-пить просит. Пускай при мамке и поработает, корона не отвалится.

– Оно так, – вроде как соглашался Данила. – Однако, кто его знает? – так и не нашёл правильного решения, махнул рукой. – А – а, будь что будет. Баба, она... ей виднее в бабьих делах.

Тут же рядом со жнищами сновали Ульяновка, Танюша и двенадцатилетний Никита. Стёпку оставили дома приглядеть за хозяйством, пасти гусей, нарвать травы свиньям, дать пойло телку, что привязан на облоге за огородом. Вовка и Вася работали где-то вместе с мужиками.

Брали снопы, относили в суслоны, ставили. Девчонки несколько раз просили у старших серпы, пытались и сами жать, однако быстро уставали.

Приставленный для надзора за жнищами полицай большую часть дня валялся под суслонами, иногда вставал, нехотя обходил поле, и снова ложился спать. Или курил, не отходя от снопов.

«Ну – у, – решили жнейки, – если и дальше так вести себя будет, то так тому и быть: пусть спит или курит».

Тайком от полиция стали скручивать, срывать колоски со ржи, но так, чтобы и не особо заметно было на снопе. С каждого по горсти, а уже за пазухой у Никиты да Ульянки с Танюшей хорошо заметно, оттопыривается.

– Бегите домой, там, в кадку, что в сенцах, высыпьте, да и обратно сюда, – наставляла детей Марфа. – Только смотрите, к полициям на глаза не попадайтесь, упаси Боже! Мы уж потом и вылушим, а как же.

– А чтоб не так заметно было, наберите яблоч летника полные пазухи, – подсказала Глаша. – Да полиция угостите. Пусть жрёт, чтоб он подавился.

Марфа видела, как сновала малышня туда-сюда по полю от мамок к дому и обратно. Знать, не сговорившись, бабы делали одно дело: таскали рожь. Потому как назвать это воровством язык не поворачивался.

«Да и правда, какое это воровство? Это же наше, колхозное! А тут эти немцы, ни дна им, не покрывши. Захлебнуться собственным дерьмом, прости Господи, чтобы их ещё и кормить. Вон, уже скольких людей безвинных расстреляли. Данила рассказал, как семью Корольковых в Слободе уничтожили. Это ж где видано, что такие жестокие, страшные эти немцы!» – женщина устало вздохнула, вытерла испарину со лба.

Марфа жала, перевязывала перевязлом, кидала готовый сноп на землю, а мысли так и крутились в голове, перескакивали с одной на другую.

Вот, вспомнился Кузя. Да он и не выходил и не выходит из головы матери. Как проводили в армию, так и дня не было, чтобы не вспомнила сыночка. Как он там? Что с ним? Последнее время боится засыпать Марфа: а вдруг что-то нехорошее про Кузю приснит? Нет, пока, слава Богу, только тревожится мать, но чувствует, что живой, живой её Кузя, Кузьма Данилович. Женщина ещё и ещё раз прислушивается к себе, но нет, вроде как на душе тоскливо, однако повода отчаиваться пока нет. Она свято верит, что её материнское сердце почует, если вдруг что не дай Боже... Он же там, где сейчас бои страшные идут. Это ж тут, в Вишенках, можно спрятаться от врага, а как ему там, бедненькому? Солдату ведь не положено прятаться по её, женскому разумению, на то он и солдат. Ой, спаси и сохрани, Господи. Она даже в мыслях боится представить, как стреляют со всех сторон, а там середь солдатиков и её Кузя. А пули летят, летят, и всё норовят в сыночка её нацелиться. Ой, ой, не может дальше думать, сердце обрывается, захолонет внутри. Нет, не будет эту думку думать. Ну её...

Наладилась о другом думать...

Рассказывали люди, что видели, как сначала отступали наши солдатики. Шли через Слободу, через Борки. А вот через Вишенки не уподобило. Видно, дороги у них не было здесь пройти. Да и какая дорога? Так, полевая до Пустошки, и в Борки худо-бедно в хорошую погоду можно попасть. А уж развезё-о – от непогодой, так и стоит их деревенька, оторванная от мира. Оно может и к лучшему? Не пришлось видеть, как потом немцы пленных гнали через те же Борки да Слободу. Бабы говорили, что измождённые, раненые, голодные. Сердце только рвалось на куски, на них глядя. А вдруг Кузя середь их? Ой, спаси и сохрани, Господи, пресвятая дева Мария, Матерь Божья!

Кто падал с солдатиков, не мог подняться, так тех сразу же и пристреливали немцы. Даже не давали подобрать жителям горетников больных, выходить, вылечить, спасти. Так, только кидали в толпу кто кусок хлеба, кто картошину варёную, кто яблоко-летник. Ох, Господи! Что делается, что делается? А как оно дальше будет?

Вспомнила вдруг, как вначале июля самолётик наш с тремя немецкими схлестнулся как раз над полем, что у Данилова топила. Ох, Господи! Сколько страха тогда натерпелась Марфа, глядя на тот бой, одному Богу ведомо. Кажется, сама бы в миг взметнулась ввысь, вспорхнула, загородила бы грудью своей тот самолётик, только чтобы он летел и дальше, чтобы целым остался и невредимым. А этих, с крестами, сбросила бы с небес на землю, прямо в болото бы затоптала, сволочей! Прямо схватила бы их там, в небе, да долой, в землю! В болото!

И уже когда наш лётчик на парашюте спускался, так эти на двух самолётах так и не отстали, не оставили в покое бедняжку. Одного-то немца успел-таки наш летун спустить за Пустошку в землю: добре так гроыхнуло за Пустошкой, столб огня да дыма почти до небес доставал, а наш самолётик ушёл в болото, тихо так ушёл, почти неслышно. Только горел перед этим, а вот лётчик выпрыгнул, вывалился, Марфа своими глазами видела, как чёрная точка отделилась от горящего самолётика.

На колени встала в тот момент, руки к небу воздев, молила Господа спасти бедолагу, отвести от него беду! В немом крике зашлась! Да тогда все бабы, что были в поле, на колени встали, не одна она.

Но, видно, чем-то прогневили Всевышнего.

А эти-то, эти немцы-то на своих самолётах?! Так и кружили вокруг нашего, пока и не приземлился, всё со своих ружей ту-ту-ту, ту-ту-ту! Так и стреляли, так и стреляли! Мстили видно за своего сбитого.

Немцам, видимо, мало показалось одного сбитого нашего лётчика, так ещё носились за Борковскими мужиками, которые в тот момент столпились на краю поля. Убили тогда Ваську Пепту – шофёра из колхоза в Борках. Ни за что, ни про что взяли и убили мужика... Только потому, что стоял на краю поля, наблюдал.

Все потом бегали смотреть на сбитого солдатику, а она, Марфа, не пошла, не смогла идти. Сил не было идти. Не слушались ноги, подкашивались. Как подумает, что так мог и Кузя её, и всё! И летун-то наш, родной! Не смогла Марфа себя пересилить, заставить пойти. Падает мешком на землю, осунется, и не сдвинуть! Так и не смогла подняться, сходить и посмотреть на мёртвого, убитого на твоих глазах лётчика.

Говорила потом Глаша, она бегала, смотрела на неживого уже пилота. Сказывала, молоденький совсем, красивый. А на землю упал уже неживым, мёртвым, убитым. Да-а, молоденький, красивый...

Конечно красивый! На ум Марфы на самолётах только и могут летать такие молодые да красивые, как её Кузя, Кузьма Данилович!

Похоронили тогда лётчика в Борках на кладбище. Борковские мужики первые на лошадях приехали, погрузили в телегу да увезли. Сказывают, из Смоленска сам, солдатик этот. Почитай, над домом погиб, болезный. По документам посмотрели, оставили в сельсовете. Может, когда родным достанутся бумаги эти?

– Ох, Господи! Что делается, что делается на белом свете? – женщина на секунду распрямилась, качнулась из стороны в сторону, размялась самую малость и снова принялась жать.

Левая рука хватала горсть стеблей как удержать, а правой с серпом тут же – вжик! – и подрезала на непривычной высоте, складывала в кучку, готовила новый сноп.

Передал утром Аким Макарович Козлов, чтобы жнейки оставляли стерню повыше. Так надо. Ну, надо, так надо! Марфа не против. Она чувствует и понимает, что мужики что-то замышляют. Им виднее. Так тому и быть.

Перед войной в колхозе не так уж и много убирали серпом: всё жатками да жатками. Вроде как и потихоньку стали отвыкать, так куда там! Очередная напасть на голову с этой войной, ни дна ей, ни покрывки.

Тут ещё молва прошла серёд баб, что вечером, после того как подоят коров, надо бежать снова в поле, будут жать каждый сам себе рожь. Кто сколько сжал, то и тащить домой надо, прятать, а уж потом обмолотить втихую, чтобы эти полицаи с немцами не учуяли. Получается, сами же своё и воруют. Вон оно как. Да бежать в поле тоже тайком надо. Эти, что у Галки Петрик, они грозились всё держать под контролем, глаз не спускать. Как оно будет, одному Богу ведомо, а пойти придётся. Надежды на немцев нет. А вдруг не дадут на трудодни? Тогда как? Ложись и помирай с голодухи? Нет уж, дудки!

Вон, дети бегают с поля домой, носят помаленьку колоски. Потом обмолотится, а жернова от соседа деда Прокопа покойного остались. Данила с Ефимом давно, ещё и до того сенокоса с грозой, когда она, Марфа, с мужем сестры в копне-то, жернова перетасили к ним в бывший амбар. Установили, так и до сих пор стоят. Ничего с ними не делается. Нет-нет, то Марфа сама, то Глаша, а то кто-то и из соседей придут, перемелют пуд-другой. Мелют-то жернова хорошо, чего Бога гневить. При всём том, а дед Прокоп Волчком помимо хорошего драчуна и забияки, хорошим хозяином был, и мастером на все руки тоже, царствие ему небесное и земля пухом. Всё у него ладилось, спорилось, нечего зря на него наговаривать. Хороший хозяин был, рачительный, грамотный. Знал про крестьянское хозяйство почти всё: когда сеять, как пахать, какую молитву совершить перед крестьянской работой. Всё знал! И мало того, что знал, так он всё и делал. Не только болтать языком умел, а и руками добре дело своё делал. Добрый был дедок, и хозяин добрый, крепкий.

Женщина оторвалась от работы, разогнулась, перекрестилась, из – под руки глянула на ржаное поле.

Это как раз те поля, которые когда-то принадлежали Домниным – родителям Марфы и Глаши, Кольцовым, Гриням и Волчковым ещё во времена единоличников, а у их родителей и перед самой революцией были в собственности. Это поле так и называют Силантьевым, по имени отца деда Прокопа Волчкова. Сказывают, он первый взял эту землю ещё во времена Столыпина. Это потом уже за ним потянулись Грини, Кольцовы, Домнины, другие сельчане. А первым был старый Силантий Волчков. Старый-старый, а сына Прокопа надоумил да и наказал брать землю в собственность. Сам уже ходить не мог, всё на завалинке да на завалинке под солнышком грелся. А мечтой о земле жил. Вот оно как. Грамотный старичок был, не нам чета, хотя образования не было. Своей головой до всего доходил. Вот и землицей не прогадал. Говорят на деревне, что умирал старый Силантий с улыбкой, радостно. Мол, главное в своей жизни сделал: сынов народил и земелькой собственной обзавёлся. Знать, всю жизнь мечтал человек о земле, о собственном клочке землицы, хозяином хотелось быть. Оно так. Выходит, для счастья не так уж и много надо – хорошая семья и клочок собственной землицы.

Мысли снова и снова кружились вокруг семьи, детей. Вон, Агаша. Свадьбу сыграли, расписались за день до войны. Муж её Петро Кондратов, хороший, работающий хлопец, на тракторе работал в бригаде Кузьмы, под призыв не попал. Вернее, попал, да призвать не успели, отложили призыв на потом. А тут слишком уж быстро эти немцы оказались у них.

Живут в своей избе на том краю Вишенок. Никита Иванович, сват, выделил сына, помог ему поставить домишко как раз перед женитьбой. Колхоз в стороне не остался. Спасибо Сидоркину Пантелею Ивановичу – председателю: на правлении колхоза с лёгкой подачи самого председателя постановили помочь лучшему трактористу материалами в строительстве дома. Казались, женились, живите отдельной семьёй, без родительской опеки, работайте, зарабатывайте себе на жизнь, родите детишек, растите их, радуйтесь жизни. Так нет, неймётся этим немцам. И что тянет людей в войны? Или они по – другому, мирно жить не могут? Иль у них жёнок да детишек нет? На её бабский ум, считает Марфа, при семье должен быть мужик, хозяином, обихаживать жену, детишек, дом, а не шастать со своими ружьями по чужим странам да мешать людям жить.

Казалось, не так давно Данила с Ефимом на той, первой германской войне были, а тут опять... Что людям надо? Неужто без войны прожить нельзя? И получается-то не мы к ним в неметчину, а всё они к нам, к русским, повадились как козёл в капусту. Тогда и отвадить не грех. Ну, никак не дают спокойно пожить, порадоваться жизни.

По весне Кузьму проводили в армию, а тут и Надя, что замужем в Пустошке, родила первенца.

Вот радости-то было-о! Первый внучек! Они с Данилой уже бабушка да дедушка! Господи! Какое счастье-то! Боялась в тот миг, что бы сердце не остановилось от радости, не выскочило из груди материнской.

А Данила-то, Данила?! Воистину, что малый, что старый. Расхлюполся-то от радости тоже, носом шмыгает, шмыгает, глаза трёт и почём зря материт махорку. Мол, и до чего ж в этом году табак крепкий, итить его в корень! Но её-то, Марфу, жену, не обманешь: кинулась ему на шею, да и добре так всплакнули оба, всласть. Обнялись, прижались друг к дружке, и... Давно так добре им вдвоём не было, давно. От Ульянки, почитай, как родила её, так холодок меж ними так и стоял, так и веяло меж ними стужей.

Марфа снова распрямилась, украдкой оглядела поле: не видит ли кто, не догадываются ли люди о её греховных мыслях? Но нет, все молодичи жнут, не отрываясь. Детишки снуют по полю туда-сюда...

Женщина опять принялась вспоминать, не прекращая жать. Руки по привычке делали своё дело, а мысли закрутились, насканивают друг на друга в голове, только успевай думать.

Говорил потом Данила, что боялся за дочурку, за Наденьку. Мол, как она родит? Чтобы не дай Бог чего. Страшно ведь.

Во, дурачок! Как она сама рожала, так молчал, а тут... Успокоила его тогда. Да как все бабы, так и она, доча твоя, родит: ра-а-аз, и всё! Родила! А как она, Марфа, рожала? А как другие бабы рожают?

Дык, говорил, боязно ж это, больно и страшно, рожать-то. Это ж, говорит, как подумаешь, что из тебя кто-то лезет, то и всё...

Дурачок, чего с него возьмёшь? Она ж в больнице в Слободе рожала, при ней доктор Дрогунов был, да сёстры медицинские не на шаг не отходили от роженицы. Это ж не прежние времена, когда под кустом баба рожала. Чего ж бояться? Вы, мужики, своё дело знайте, а уж мы, бабы, своё дело знаем не хуже вашего.

Председатель по такому случаю дал бортовую машину, загрузились всей семьёй, Глашка с Ульянкой тоже, поехали к Настеньке в Пустошку. Вовка за рулём. Подарков надарили-и, тьма! А то! Первый внук! Это вам не хухры-мухры, не фунт изюму скушать!

Сутки бражничали! Ефим на два дома управлялся, правда, чтобы Данила не знал. Да Бог с ним! Он, Данила, потом ещё и дома с мужиками дня три угощался, да внука расхваливал. Мол, на него, на деда похож, прямо, вылитый Данилка в детстве. И-и-и, есть что говорить, да нечего слушать! Помнит он, каким был в детстве?

И скажет же тоже.

Размышления Марфы прервали детские крики, громкая мужская ругань, что доносились от суслона, где сидел полицай. На крик к суслону кинулись бабы, побежала и Марфа.

Какое же было изумление, когда увидела полицая, который держал за воротник её сына Никиту.

– Чей хлопец? – вопрошал полицай, гневно глядя на толпу женщин, что собрались к суслону, сбежались на крик.

– Мой, мой, – кинулась к сыну Марфа, но её грубо оттолкнул полицай.

– Не подходи! – загородился свободной рукой от матери. – С ворами у нас будет один разговор: к стенке и никаких гвоздей!

– Да ты что? – оторопела Марфа. – За что?

– А вот за что, – мужчина выдернул рубашку у ребенка из штанишек и на стерню посыпались сорванные только что колоски ржи, полные зерна.

– По законам Германии вора надо расстрелять, понятно вам? Я обязан доставить его в комендатуру.

– Ой, мой миленький! – Марфа упала на колени, поползла к полицая. – Мой миленький мужиночка! Пощади! Пожалей мальчика, умоляю! Пожалей моего сыночка родненького! Дитё совсем, истинно, дитё! – и ползла, ползла по высокой стерне, не смея поднять голову.

Все женщины замерли, молча, с замиранием сердца смотрели на мать, ползущую к полицая. И на ребёнка, который, казалось, отрешённо смотрел на происходящее, не до конца понимая, что сейчас с ним может быть. Только вдруг побуревшие между ног штанишки говорили об обратном: ребёнок сильно, очень сильно испугался, и от испуга потерял дар речи и обмочился.

Только было не понять: то ли он испугался за себя, за собственную жизнь или за маму, ползущую по стерне к полицая?

Марфа обхватила ногу полицая, умоляя оставить, пощадить дитё неразумное, как мужчина с силой ударил её сапогом в лицо, а потом добавил и прикладом винтовки сверху по спине. Женщина вдруг, разом безвольно рухнула лицом в стерню и замерла, застыла, как неживая.

– Я сказал: вора в комендатуру и под расстрел! – полицай, почуяв свою силу, входил в раж. – Я покажу вам воровать! Дыхать будете, как я скажу! – и решительно направился в сторону деревни, удерживая за воротник Никитку.

Жнеи, дети застыли, онемели от предчувствия чего-то страшного, того, чего с ними пока ещё не было, что не могло присниться в тяжком сне, но могло вот-вот случиться, что уже неумолимо приближалось. Незнание лишало способности думать, решать, а лишь безмолвно глядели, зажав рот ладонями, не зная, что и как им делать.

И в это мгновение сзади к полицая волчицей кинулась Агаша, за два-три прыжка нагнала его, с лёту ухватив одной рукой за волосы, дернула на себя, и тот же миг серп женщины застыл на горле мужчины.

– Стоять! – шипящий, не предвещающий ничего хорошего, голос Агаши поверг полицая в шок.

Он замер, не смея повернуть голову, не смея пошевелиться. Кто это? Он видеть не мог и понимал, что сила на стороне этой женщины, а потому не сопротивлялся. Делал всё, что она говорила.

– Одно движение и я перережу твою глотку!

И полицай как никогда отчётливо понял, что так оно и может быть, и будет. Острые маленькие зубья серпа уже впивались в шею, ещё чуть-чуть и точно перережет. Что-что, а режущие возможности серпа очень хорошо знал этот человек, всю жизнь проработавший в деревне под районным центром.

– Отпусти мальчика! – потребовала Агаша, что и сделал полицай в тот же момент.

Никита, освободившись, кинулся внутрь женской толпы, что с замиранием сердца, безмолвно, с ужасом в глазах и на лицах наблюдали за страшным поединком Агаши и полицая, боясь лишним движением, голосом, криком помешать.

– А сейчас бросай ружью на землю!

Винтовка в тот же миг упала в стерню, её тут же подхватила Глаша, отбежала в сторону.

– Мордой вниз ложи его, дева! Вали его, козла этого! – женщины осмелели, зашевелились, кинулись на помощь Агаше, не называя её по имени. – Вниз, вниз мордой, чтобы не видел никого, – стали советовать со стороны, плотным кольцом окружив полицая и Агашу. – А дернется, так мы поможем. Серпы наши острые.

Полицай лёг, лёг безропотно, воткнув лицо в стерню, в землю, Агаша так и продолжала стоять над ним с серпом у горла.

– Вот так и лежи, пока мы не разойдёмся, тогда и ружьё своё заберёшь у наших мужиков. А пикнешь что-нибудь, без ружья мы тебя кастрируем, как хряка.

Подозвав к себе движением руки Ольгу Сидоркину, восемнадцатилетнюю дочку председателя колхоза Пантелея Ивановича, так же жестом отправила её в деревню с винтовкой полицая.

– Мужикам отдай. А ты лежи, лежи, не двигайся, если жить хочешь, – это уже полицаю. Мужчина ещё плотнее вжался в землю, застыл, боясь пошевелиться, сделать малейшее движение.

Агаша аккуратно высвободила серп, и, пятясь, стала уходить ко ржи, где смешалась с толпой женщин.

И только теперь вдруг расслабилась, понимая, что она сделала и чем рисковала. И охватил озноб, дрожь, да такая, что стоять стало неважноту. Отхлебнула воды из бутылки, что сунула ко рту кто-то из женщин, а она и не помнит, стала приходить в себя и вдруг расплакалась, расплакалась до икоты.

Марфа, Глаша под руки подвели Агашу ко ржи, принудили жать.

Все бабы к этому времени уже жали, не поднимая головы.

Полицай сидел в стерне, поминутно крутил головой, то и дело трогал себя за шею. Потом встал, долго, слишком долго стоял на одном месте, видно, что-то соображая. Наконец, закурил и решительно направился в деревню, но по бокам даже не смотрел, не глянул ни разу в сторону жниц. И они делали вид, что жнут, наклонившись в привычном наклоне ко ржи, но из – под рук тревожно, непрерывно наблюдали за полицаем, готовые в любой момент к любой неожиданности.

Стоило ему скрыться за ближайшими кустами, как все женщины побросали работу, сгрудились у суслона, тревожно переговаривались, решали, что сейчас может быть, и что им делать.

– А ты, дева, молодец! – баба Галя Петрик восхищённо смотрела на Агашу, переведя взгляд на Марфу с Глашой. – Это у вас порода такая отчаянная. Данила тоже по молодости был оторви голова. Не зря их с Фимкой Бесшабашными кличут до сих пор. Вот и ты в папку. Ну – у, молодец, девка! – не переставала восхищаться поступком Агаши. – Это ж додуматься? На взрослого мужика с серпом? Хотя, за брата родного и с голыми руками на врага кинешься.

Остальные бабы то же стали подбадривать, хвалить, восхищаться её поступком, поминутно похлопывая по спине.

– Вот что, бабы, – охладила пыл баба Галя. – Дело не шутейное. Давайте думать, как девку от беды спасти.

– Тут не Агашу одну, а всю семью Кольцовых спасать надо, если на то пошло, да и нас всех, если что, – встряла в разговор молчавшая до сих пор старшая сноха Акима Козлова Нюрка. – Если, не дай Бог, этот полицай пожалится начальству, а он это обязательно сделает, обскажет чьего мальчика взял с колосками, так ещё не ведомо, что и как с нами со всеми будет. Наши дети здесь тоже ошивались. Догадаются, зачем ребятня тут.

– Да они и разбираться не станут, – высказала предположение старая Акимиха, жена Акима Козлова бабка Гапа, которую по деревенским обычаям звали просто Акимихой. – Возьмут, антихристы, и стрелнут нас всех, как Агрипину Солодову.

– Надо мужикам всё рассказать, – снова вступила в разговор баба Галя Петрик, рассудила. – Они на то и мужики, чтобы баб оберегать. А ребятня пускай на всякий случай спрячется, да и подальше, чтобы их не сразу нашли, так надёжней будет. Мало ли что у них на уме, у полицаяев этих.

Отправили в деревню Агашу, подальше от греха, да и она сама лучше расскажет, что да как. Пускай теперь мужики выручают, идут на помощь.

Разошлись, продолжили жать, поминутно поглядывая на дорогу: не появились ли полицайи?

– Ба-абы-ы! – вдруг разнесся над полем голос Марфы. – Бабоньки! Бабы! Девки! А мы чего ждём? Пока придут да и жизни лишат?

– Да пропади оно пропадом, жито это! Спасайтесь, бабы-ы! – подхватило ещё несколько голосов, и уже через минуту на ржаном поле не было ни души, только видно было, как мелькают среди кустов женские головы в направлении Вишенок.

Агаша бежала к деревне, ещё и ещё раз прокручивая в памяти события минутной давности.

Неужели это она сделала? Мужiku, взрослому мужiku при ружье серпом хотела горло перерезать? Неужели? О чём она думала в тот момент? А Бог его знает, о чём она думала?! Уж, точно, не о последствиях. Да ни о чём она в тот момент и не думала. В тот момент времени на думки не было: как услышала крики у суслона, что-то ёкнуло сердце, затрепетало. Ещё не видела Никитки, а вот, поди ж ты, поняла, что что-то с её родными происходит. Да не простое что-то, а страшное, тяжкое. Что это? Почему так сердце дрогнуло в тот раз? Не поняла тогда, и теперь Агаша не стала разбираться в чувствах, она их не помнит. Просто, как увидела братика в руках у полиция, да мамку, ползущую по стерне, и этот недоумок ещё сапогом в лицо да ружьём в спину сверху, и всё: дальше опомнилась, когда держала полиция за волосы, да серпом на горле. Это потом уже прислушивалась к советам женщин, а в первый момент точно резанула бы по горлу полицаю. Это ж удумать, Никитку расстрелять! Мамке в лицо сапогом! Нет уж, дудки! Не бывать такому!

Если бы в тот момент мужик хоть капельку, хоть чуточку, чуть-чуть дёрнулся, стал сопротивляться, то и резанула бы сразу. Как рожь подрезает на корню, так и голову бы. Точно. И рука б не дрогнула. По привычке, отработанным годами движением серпа: ра-а – аз! – и всё! На кого руку поднял? На мамку?! На братика родного?! Не – е-ет! Не в семейных традициях Кольцовых прощать издевательства над собой, не – е-ет! Это ж где видано? И это за колоски?! А ты сеял рожь эту? Какое имеешь отношение? Кто ты? Как попал к нам в Вишенки? Мы тебя приглашали?

А сейчас быстрее к папке или к Пете, или к дяде Ефиму. Да к любому деревенскому мужiku, а уж они потом сами всё решат.

Конечно, заварили они кашу вместе с Никиткой, и с ней, с Агашей. Да и Бог с ней, с этой кашей. Но и выручать, спасать надо было брата и мамку. По – другому и нельзя было. Спасибо, женщины поддержали.

Так всё наладилось, зажили по – человечески, с Петей поженились, а тут эта война. В своём собственном доме жить стали, планы такие строили, о детишках думка была, а теперь что? Вот так в родной деревне прятаться, дрожать из – за каких-то полицаев, немцев? Что за напасть на головы сельчан, на её голову, прости, Господи?

Не – е-ет, она не простит немцам, как и не простит полицаю. Да, она не мужчина, в морду не даст, на кулачках не сойдётся в драке с этими пришельцами. Хотя, жизнь, как сегодня, прижмёт, и в драку влезет, встрянет, не смотря ни на что. Зубами грызть будет, глаза повыцарапает любому врагу, какой бы он сильный не был, а только будет всё по – людски, правильно, как должно быть, как было до войны. Она не потерпит, что бы в Вишенках хозяйничали немцы и их приспешники; что бы Никитку под расстрел и мамку лицом в землю да прикладом в спину? Даже папка на мамку руку не поднял, не ударил, когда она с дядей Фимкой... А тут эти. Не-е-ет, не бывать этому!

– Дядя Ефи-и-им! – Агаша увидела, как сосед подкапывал в саду картошку и сам же выбирал следом. – Дядя Ефим!

– Что? Что случилось? – кинулся навстречу девушке. – С Ульянкой что?

– Нет, с ней-то как раз всё хорошо, – и принялась рассказывать, захлёбываясь, перескакивая с одного на другое, о том, что случилось несколькими минутами раньше на ржаном поле.

– Вот такие дела, дядя Ефим, – закончила рассказ Агаша. – А я и не помню хорошо, как это произошло. Бабы направили в деревню обсказать мужикам, а уж они, то есть, вы... – девушка наконец-то перевела дух, с ожиданием вглядывалась в бородатое лицо соседа, ждала.

– А все женщины-жнеи где? – спросил Ефим, умом понимая, что полицаи такого унижения со стороны женщин не простят. Тем более, у них в руках и власть, и оружие. Что-то будет, но что?

– А – а, вот и они, жнеи наши, – из леса к огородам подходили скорым шагом Марфа с Глашей. – Вот и хорошо.

– Ой, что было, что было! – увидев мужа, Глаша принялась было рассказывать, но тот перебил её.

– Знаю, знаю, вы вот что, бабоньки, – Ефим огляделся. – Хватайте ребятишек, оповестите всех женщин в деревне, да уходите на ту сторону Деснянки в Волчье урочище. А мы уж как-нибудь, – Гринь не стал больше задерживаться, двинулся вдоль улицы по деревне.

Ещё через какое-то время почти все мужики Вишенок собрались за глухой стеной колхозного амбара на току, курили, решали, как быть в такой ситуации. То, что полицаи не простят – это ясно. Донесут ли, нет, немцам в комендатуру в Слободе, вот вопрос? Но надо готовиться к худшему варианту развития событий. Если так, требуется срочно принимать меры. Приедут на машинах, и наши не пляшут. Окружат. Расстреляют, деревню сожгут. Это они, шакалы, умеют с безоружными воевать. Так что, надо защищаться.

Конечно, лучше всего арестовать полицаев пока не поздно, разоружить их, а там видно будет. Всё равно, рано или поздно придётся воевать с немцами. Так чего ждать? Днём раньше, днём позже? Какая разница? И винтовки лишними не будут.

– А, может, повиниться? – заговорил молчавший до сих пор Назар Сёмкин, мужчина годов шестидесяти, рабочий полеводческой бригады, куда его всё же смог заставить пойти работать председатель колхоза Пантелей Иванович Сидоркин. – Ещё накликаем на свои головы горя, потом не оберёмся расхлёбывать.

– Поясни, – накинулся на него Аким Козлов, забежал вокруг на своей деревяшке. – Ты что, думаешь просидеть всю войну тихой сапой? А гансы тебя будут по головке гладить?

– А вдруг они пришли навсегда, тогда как? – не сдавался Сёмкин.

– А ты собираешься их своим протезом деревянным, культяпкой своей втоптать в землю? – презрительно посмотрел на Акима, зло сплюнул под ноги. – Ты видал их силищу? Я был на днях у сродственника в Слободе, видел, как катит их техника на Москву. Катит и катит, без остановки. И пушки, и танки. А уж солда-а – ат, не меряно. Кто ж устоит перед немцем? А то петушится тут, – и снова с негодованием плюнул. – Геро-о-ой, итить его в корень. Тьфу, и слушать не хочу!

– Кто, говоришь, устоит? – подлетел к нему Данила Кольцов. – Я устою! Мы устоим! Россия устоит! Советский Союз устоит! Понял, кила ты гнилая!

Его тут же поддержали остальные мужики, заговорили разом, перебивая друг друга.

– Неужели терпеть будем?

– Да не бывало такого, что бы немцы над нами верх брали.

– Кто ж терпеть над собой такое будет? Разве что ты, Назар?

– Правильно! Когда ты килу свою лелеял, я немцев на штык нанизывал! Понял?! Кишка тонка над нами сидеть кому б-то ни было! – не находил места от возмущения Кольцов. – Мою жёнку сапогом в морду! Это простить?! Сына под расстрел за нашу кровную рожь?! А Агрипину Солодову? А семью Володьки Королькова? А молоденьких офицериков, что в Слободе? Замолчь лучше, Назар, пока я тебе морду не набил!

– Нашли кого слушать, – Володька Комаров поднял обе руки, попросил тишины. – Назар он и есть Назар. Нам надо решить вот сейчас: что делать? Как быть с этими полицаями? Может, пока мы друг с дружкой глотки рвём, а они уже поехали в Слободу за помощью? Вот о чём думать надо.

– В общем, так! – подвёл итог Никита Иванович Кондратов. – У кого есть оружие, собираемся на Медвежьей поляне. Только тихо. Остальным – сбор у колхозной конторы через полчаса. На всякий случай кол поувесистей и вилы-тройчатки не помешают.

Никита знал, знал хорошо, что многие мужики приходили ещё с первой германской войны с оружием. Не прошли даром и восстание крестьян в Пустошке: винтовки да обрезы у

многих были припрятаны в укромных местах. Да и охотничьих ружей в деревне было предостаточно. Жить в лесу и не иметь ружья? Так оно и оказалось.

– А молодёжь пускай останется, – указав руками в сторону сына Петра и его товарищей, что столпились отдельно от пожилых мужиков.

Петро Кондратов с сыном Володьки Комарова Василием и Вовкой Кольцовым натянули верёвку между двух берёз у гати по дороге к Боркам. Натянули так, чтобы конь смог пройти, а вот всадник... Сами спрятались в кустах, что густо стоят по обе стороны дороги.

Вовка был вооружён винтовкой, которую года три-четыре назад нашёл нечаянно в полуразрушенном доме деда Прокопа Волчкова. По всем данным, эта была та самая винтовка, что когда-то дед вырвал из рук молодого красноармейца в пору крестьянского бунта в Пустошке, куда старик ходил в помощь восставшим.

А Вовка лазил по дому, когда дочка деда Прокопа перевозила брёвна, да и обнаружил в камышах на крыше. Перепрыгал, а вот теперь пригодилась.

Как чувствовал, вчера достал, проверил, прочистил в очередной раз, пересчитал патроны, сидя у себя во дворе. Отец заметил, попытался забрать.

– Ты бы, папа, лучше мне отдал свой наган, – ответил тогда сын отцу. – Тебе он ни к чему, а мне в самый раз.

– Какой наган? – опешил Данила. – Нет у меня никакого оружия, откуда ты взял?

– Ага, я как будто не видел тебя в саду с винтовкой и наганом, когда ты после ссоры с дядей Ефимом...

– Ну – ну, – только и смог ответить отец.

Сейчас главная задача у парней – перехватить нарочного, которого по всем данным старший над полициями Ласый Василий Никонорович должен будет послать к немцам. Мальчонка Семёна Куделина говорил, что видел, как ходил один из полицейев на конюшню, и тот час конюх дядька Тихон побежал на берег Деснянки, где паслись оставшиеся колхозные кони, пока их не раздали по хатам.

Значит, кто-то из них поскачет верхом в Слободу до комендатуры. Важно, что бы он проехал именно этой дорогой. Местные жители могли бы и вдоль Деснянки. Правда, там есть места, что придётся слазить с коня, настолько густо и низко свисают ветки деревьев над тропинкой. И ещё есть топкие места, о них, опять-таки, только свои ведают. Но, это знают местные, а вот пришлые? Вряд ли.

Так что, нарочный поедет здесь, по этой дороге, в кругалю. Дядя Никита Кондратов наказал брать живым полицая. Лишней крови не надо. Но, если уж... то тогда действовать по обстановке.

А вот и всадник!

Привстав в стременах, полицай что есть силы хлестал кнутом невзрачную, мышастой масти коняшку, всю жизнь не вылезавшую из телеги да плуга. Привыкшая к тяжёлому труду, а не к верховой езде, она отчаянно изображала галоп, по – сиротски подбрасывая задние ноги, трюхала, ёкая лошадиной требухой. А он всё стегал и стегал, устремив взор вдоль дороги.

Падая с лошади, полицай не успел сообразить, что к чему, как в тот же миг на него набросились молодые здоровые парни. Один из них уже держал в руках его же винтовку, больно тыкал в грудь; другой – снимал ремень с пистолетом и подсумком с патронами к винтовке; третий – связывал верёвкой за спиной руки.

– Стой, дядя, не дёргайся! – тот, который связывал руки, больно поддал коленкой под зад. – Тут тебе не Агрипина Солодова, понимать должен. Это тебе не с бабами воевать.

– Так куда это ты спешил, мил человек? – с ехидцей спросил Петро, когда пленник уже стоял на ногах со связанными руками. – Иль что не понравилось в Вишенках? Плохо кормили, иль как?

– Так... это... – с дрожью в голосе начал полицейский, – так... это... Василий Никонорович, старший над нами, это... в комендатуру до майора Вернера... коменданта.

– Неужели привет передать?

– Так бунт в Вишенках, сказал Ласый доложить майору. За подкреплением, за солдатами отправил. Вы меня стрелять не станете? – жалобно спросил мужчина. – У меня дети, трое, и жёнка. Не стреляйте, прошу вас, – и вдруг заплакал, упал на колени.

– Ты посмотри, – удивился Вовка. – Плачет! А когда мамку мою сапогом в лицо? А братика Никитку под расстрел? Это как?

– Так это ж не я, хлопчики, милые. Это ж Гришка, Григорий Долгов, зять Ласого. Да разве ж я мог женщину? Ребёнка?

Лошадь, освободившись удивительным образом от всадника, тут же мирно паслась, пощипывая траву у дороги.

Забрав коня, парни повели полицейского в деревню.

А в это время на площади у колхозной конторы стояла толпа вооружённых, более двадцати человек, мужиков. Те, кто без оружия, толпились чуть поодаль, но у многих в руках были вилы-тройчатки, косы, увесистые колья. У стены конторы со связанными руками тесной кучкой сгрудились полицейские с низко опущенными головами. Их взяли тихо, без скандала, прямо из – за стола.

Обедали, когда в дом Галины Петрик один за другим ворвались с десяток мужиков, наставив на полицейских винтовки.

– Ефим Егорович, собери пистолеты, а вы, господа хорошие, снимите ремни с оружием, да и положите на стол, – Никита Кондратов с товарищами не спускали с прицела растерявшихся, разом поникших полицейских. – И смотрите, в борще пистолетики не загадьте. Это вы можете: хорошее дело испохабить, страдалцы.

Одного полицейского не досчитались: по словам старшего Ласого Василия Никоноровича, тот только что ускакал в комендатуру до коменданта за помощью.

– Ну, что ж. Тем лучше, – эта новость, казалось, совершенно не обескуражила Никиту, хотя Ласый в начале и пытался стращать немцами.

– Побойтесь Бога, мужики, – убеждённо говорил он. – Ещё час-другой, и всё: нагрянут немцы, и считайте, что деревня Вишенки больше не существует. И вряд ли кто-то из вас сможет выжить. Вы же знаете, что они скоры на расправу, не мне вас учить. Тем более – бунт, открытое неповиновение, угроза жизни законным представителям власти.

– Всё правильно, – не замечая доводов Ласого, промолвил Никита.

– Всё правильно мы задумали. Дай Бог парням успеть, да чтоб дорогой правильной поехал.

– Никита Иваныч, Никита Иваныч! – сквозь толпу мужиков пробирался Илья Назаров, подросток лет шестнадцати. – Дядя Никита! Ведут! Взяли хлопцы и последнего!

И точно: к конторе подходили Петро с товарищами, вели связанного полицейского, Вовка Кольцов ехал верхом на лошади, замыкал шествие.

– Ну вот, и слава Богу! Правда на нашей стороне, знать, и сила тоже, – Никита Кондратов перекрестился, повернул к землякам в раз повеселевшее лицо. – А то! Нас голыми руками не взять! Стращать вздумал! Мы – пужаные, господа-товарищи полицейские, понятно вам?

Ещё с полчаса решали, что делать с пленными. Были разные предложения: и отпустить с миром; и в расход, прямо вот здесь, к стенке, и ваши не пляшут!

Выручил, спас положение и не только, прискакавший верхом лесничий Кулешов Корней Гаврилович.

– Во – о, дела! – соскочив с седла, подошёл к мужикам, поздоровался почти со всеми за руку. – Хорошо, Семён Попов из Пустошки встретился, рассказал. Так я быстрее к вам. Он тут у кумы был, внуков к себе в Пустошку забирал. Говорит, вы тут ого-го?!

– Вот, Корней Гаврилович, не знаем, что с гостями незваными делать? Может, подсказешь? У тебя голова чистая, в отличие от наших, – Никита Кондратов повёл рукой в сторону обречённо стоящих вдоль стенки конторы полицаев.

– Да-а, дела-а, – снова произнёс лесничий. – А что тут думать? В холодную под арест, а там видно будет.

Тотчас арестованных увели всё те же Вовка Кольцов и уже вооружившиеся Петро Кондратов с Васькой Комаровым, что бы поместить в тёмную пристройку за конюшней, без окон, с массивной дверью из плах, где когда-то стоял колхозный жеребец-производитель.

– Да разденьте, – напутствовал лесничий. – Нагие никуда не денутся, а голыми руками плотно подогнанные доски-горбыли не вырвут. Да, – это уже обратился к Никите Ивановичу. – И кормёжку им не забудьте.

– Вот пускай и дальше Полина Петрик их и кормит, – нашёлся сразу Никита. – Она начала, вот пускай и продолжает.

На этот раз собрались в конторе. Расселись в председательском кабинете, он был чуток больше других, так что, всем места хватило. Кому не было стульев, сидели на полу. Собрались всё те же, кто был и на Медвежьей поляне. Добавились Вовка Кольцов и Васька Комаров. Остальным вооружённым мужикам сказали расходиться по домам, сыскивать женщин да детишек, что спрятались за речкой в Волчьем урочище. Но! Но быть готовым в любую минуту с оружием прибыть к конторе.

На дорогу, что ведёт в Борки и Слободу, отправили Илью Назарова, вооружив его куском рельса, что висел у конторы для оповещения жителей Вишенок о пожаре или общем сходе в прошлые времена.

– Подвесь на сук дуба, что на краю овражка перед гатью. Как учуешь немцев, так сразу молоти по железке что есть мочи шкворнем. А уж мы тут... – наставил парнишку Корней Гаврилович.

– Ты у нас теперь на переднем крае, смотри, не подведи. Вся надежда на тебя. Но сам потом спасайся быстренько. Не дай Боже застукают тебя немцы за таким занятием, сам понимаешь, по головке не погладят. Да, и железку сразу на сук закинь, чтобы видно не было.

Говорил сначала Корней Гаврилович Кулешов.

– Вы немножко поспешили, но, всё, что не делается – к лучшему, как говорится.

У нас уже создалось ядро будущего партизанского отряда. Серьёзные люди советуют нам в командиры Лосева Леонида Михайловича, сына сапожника из Борков, Михал Михалыча. Вы эту семью должны знать.

– Знаем, – сказал Данила Кольцов, мельком взглянув на Ефима. – Кто ж в округе не знает сапожника? И скажешь ведь, Гаврилыч. А не молод командир-то? Он, кажись, годом старше моего Кузьмы, и вдруг в командиры? Не боязно? Пацан, а над стариками верха держать будет?

– Человек перед самой войной окончил военное пехотное училище. Это вам о чём-то говорит? Мы-то только на арапа брать можем, на испуг, а на войне так не получится. Иль со мной не согласны? Тут военные знания нужны. А мы собираемся воевать не на жизнь с немцами. Иль кто думает, что мы от немца по лесам будем бегать, в прятки играть?

– Оно так, – поддержали мужики. – Говори дальше.

– На днях он появится у нас, – продолжил лесничий. – Благодаря некоторым из вас Леонид Михалыч идёт на поправку, но врач говорит, рука левая останется недвижимой. Ну, да ладно. Ему головой придётся воевать, а отсутствие руки и не такая помеха для умной головы.

Решено начинать с Пустошки и Вишенок, поднимать на народную войну против захватчиков, поскольку ваши деревеньки стоит в лесу, подойти к ним не так уж и просто. Руня тоже с вами. А Борки, Слобода – наши помощники, опора в делах наших праведных. Скажу лишь то, что можно сказать. Знайте одно, что ни при каких ситуациях Вишенки не останутся в оди-

ночестве. На помощь обязательно придут соседние деревни. Как и что это будет оповещаться, как и кто это будет делать, сами понимаете, что узнаете об этом со временем.

Да, и вы не должны оставить один-на – один с бедой ни одну из этих деревенок. Только так, сообщая мы сможем противопоставить себя немецкой военной машине.

Совещались долго: слишком тяжёлая была тема совещания. Вроде как и работа была привычной, обыденной, такой, какая и должна быть крестьянская работа. Однако условия изменились в корне.

Вот и совещались, искали новые пути, методы, способы... Приноравливались...

– Уборку урожая отныне проводить и днём и ночью. То, что отмерит Никита Иванович на полях, убирать в фонд будущего года и для нужд партизан. Это будут делать полеводческая бригада и все женщины деревни. Ефим Егорович и Данила Никитич остаются ответственными за это дело. По ночам каждый жнёт для себя, – Корней Гаврилович делал особый упор на это, то и дело заостряя внимание жителей Вишенки на то, что надеяться надо только на собственные силы. – Кто сколько сжал, то и его. Но не жадничать: на всю жизнь всё равно не нападёшь, однако надо помнить и о других. И на полях не должно остаться ни картофелины, ни зёрнышка. Молотить придётся цепями на токах, молотить на жерновах. Для себя, для семьи уж как кто и где умудрится. Это их дело. Важно, чтобы было чего молотить, молотить. Крупорушки, слава Богу, не повыбрасили за колхозную жизнь, вот и пригодятся сейчас. Несколько крупорушек на деревню хватит. Старикам и немощным – из общих запасов. За это дело отвечать будет Володька Комаров. Он – человек совестливый, правильный. Не должен кого-то забыть, обделить. Кого-кого, а стариков и больных обижать не след, не по – христиански это. Не принято плохо относиться к старикам в Вишенках.

– С хранением урожая всё меняется: амбары отпадают сами по себе. Зачем же для врага собирать то же зерно в складах? Приедет, антихрист, да и вывезет спокойно. То же и с картошкой. Прятать! Только так и никак иначе! – дополнил выступление лесничего Никита Иванович Кондратов.

– Правильно. Хранить урожай для нужд будущего года там, где укажет Никита Иванович. Понятно, что трудно, но как иначе? Не сегодня-завтра немцы спохватятся, опомнятся. Что тогда? Так что, на раскачку времени нет совершенно, дорога каждая минута. Привлекать к работе и старого и малого. Освобождаются только неходячие да немощные. Сами должны понимать, что кроме нас никто нам не заготовит продовольствие, не обеспечит. И лавка коопторговская не приедет в деревню. Что сами заготовим, с тем сами же и жить станем, то сами и есть-кушать будем.

Ещё долго Корней Гаврилович рассказывал, объяснял, стараясь не упустить чего, не забыть. И напомнил в очередной раз, что немцы не простят такой самостоятельности местного населения на оккупированной земле, сделают всё, чтобы уничтожить такие проявления на корню.

Но и на этот случай надо принимать самые срочные меры, организовывать отряд самообороны. Что да как – об этом уже скажет и организует сам товарищ командир Лосев Леонид Михайлович.

– Да, пока не забыл, – уже перед самым концом совещания поведал Корней Гаврилович. – Все помнят Макара Егоровича Щербича?

– Да, конечно, – загудели мужики. – Хороший был человек, грех плохое сказать.

– Так что там о Щербиче, Гаврилыч?

– Ну, так вот, – продолжил Кулешов. – Полицаем в Борках его внук Антон! Староста деревни. Каково?! Добровольно прошёл служить немцам! И это внук такого уважаемого в округе человека?!

– В батю пошёл, в Степана, – сразу нашёлся Данила Кольцов. – Тот-то вечно недовольным был, лодырь да пьяница. Зато гонору, гонору! Грудку-то свою выставит, выпатит, ходит

кочетом по округе. Тьфу! На деревню хватило бы гонору, что он один имел. Над всеми быть хотелось, повелевать чтоб, да шапки гнуть перед ним. Вот же уродилась уродина...

– Вот же сволочь, – добавил Ефим Гринь. – Только имя доброго человека, дедушки своего, портит, вот сволочь. Кто бы мог подумать, что у такого человека, как Макар Егорович Щербич, будет такой внук? И мамка его вроде наша женщина: простая, работающая, а вот, поди ж ты сынок какой?! Может, оно и хорошо, что старик не ведаёт про внука? Я представляю, какой это был бы удар по дедушке. Он пережил почти спокойно, когда землю, имущество отдал советской власти добровольно. А вот предательство внука вряд ли пережил бы. Он ведь патриотом был, да ещё каким... Любил Россию, чего уж.

– Уже нагадил, ай нет? – спросил Аким Козлов. – Если нагадил, напаскудил, тогда сразу к стенке, чтобы другим неповадно было. Вишь что удумали: к немцам идти в услужение? Против своих?

Гдей это видано?

– Пока нет, не нагадил, но работу провести следует, – поддержал Корней Гаврилович. – Вдруг бес попутал? С пути праведного парнишка сбился, а направить некому, тогда что? Понимать надо, что без мужской руки рос мальчонка, не было кому на путь истинный ремнём наставить, вот и... Шашкой махать, Аким Макарыч, не с руки нам. Всё ж таки хоть и сволочной парнишка, да наш, итить его в коромысло. Многие сейчас с пути сбились. Вот, на полицаев посмотри. А ведь вчера ещё были нашими людьми, за одним столом с нами сидели. Война это, война виновата. Тут взрослые, зрелые мужики, а там пацан, мальчонка сопливый.

– Да уж... сопливый мальчонка... Да ему кажись, двадцать два годочка, – заметил Володька Комаров. – Если память не изменяет, они с Лёнкой Лосевым ровня. Или я ошибаюсь?

– Да. Правду говоришь, – подтвердил Кулешов. – Соседи это мои, на моих глазах росли, так что... А побеседовать стоит. Сбился с пути парнишка, наставить на путь истинный надо бы. Может, ещё и не поздно, пока не испортился совсем.

– Не скажи, не скажи, Корней Гаврилович, – не согласился Данила. – Вот тебя не испортила, меня, их, – обвёл рукой сидящих в вокруг мужиков. – Если сволочь, то он и есть сволочь. Только война или другая тяжкая година их быстрее выявляет.

Сразу заметно, кто чем дышит, от кого какой дух идёт. Иной раз такая вонь распространяется, что дыхание перехватывает, на гада глядя. Так что... Зря ты так, Гаврилыч, зря. Прав Аким Макарыч: поотрубить надо руки по локти сразу, чтобы потом не каяться, что позволили гаду гадом быть, сволочью.

– Зря или не зря – это время покажет, – не сдавался лесничий. – А провести беседу, направить на путь истинный никогда не поздно. Что я и обязуюсь сделать.

– Ну – у, тебе виднее, – Данила не мог оставить последнее слово за Корнеем. – Ты ж в соседях с ним жил, что я могу сказать. А старика Щербича Макара Егоровича жаль.

Ефим Гринь сходил в колхозные гаражи, принёс и повесил опять к конторе кусок рельса. Точно такой же кусок повесили вдали от деревни у дороги, что вела к Пустошке, выставили часовых. Они должны оповещать о появлении немцев.

Ближе к вечеру всю информацию довели до жителей Вишенки. Обязали в приказном порядке всем женщинам, старикам и детям услышав звон била, незамедлительно уходить за Деснянку в Волчье урочище и там отсиживаться, пока не позовут. Да приказали язык за зубами держать.

А пока суд да дело, Никита Иванович отправил туда, в Волчье урочище, группу мужиков с топорами, другими инструментами, готовить семейный лагерь, пока только в виде нескольких больших, сухих и тёплых шалашей, а потом и подумают о землянках. Но, это уже ближе к зиме, если раньше Красная армия не сломит шею Гитлеру, да и погонит к чёртовой матери этих немцев.

Старшим в лесу назначили Акима Козлова.

– Ты, Аким Макарыч, сам можешь и не строить, так как обезноженный ещё с той германской войны, пострадавший чуток раньше от немчуры, но уж контроль над строителями за тобой, – наставлял его Никита Кондратов. – Ты у нас мужик хозяйственный.

Взялись за новую для сельчан работу, работу защитников своей земли, своей деревеньки с пониманием. Принялись осваивать новый вид деятельности если не с энтузиазмом, то уж и не с участью обречённых: раз надо, значит – надо! Будут делать! Кто же за них возьмётся, кто же вместо них сделает? Только они, только сами. И делали это на совесть, доброту, отдавая всего себя работе. По другому-то не могли и не умели. Не приучены по другому.

Надеялись, свято верили, что оторванная и в лучшие годы от мира, затерявшаяся среди лесов и болот деревенька Вишенки выстоит и в это лихолетье. Надеялись, но и поднимались на борьбу. Не принято прятаться у местных жителей за чужие спины в тяжкую годину. Ходили многие мужики на прошлые войны то с японцами, то на первую с германцами в 1914 году, ещё больше ушло на эту, но и оставшиеся не собирались отсиживаться. Не в традициях в Вишенках быть в кабале, в неволе. Вольный дух самой природы, коим столетиями дышали, впитывали в себя их предки и они сами, не мог позволить склониться перед кем бы то ни было, а уж перед иностранцем и подавно.

С тем и жила деревенька Вишенки со своими жителями, веря в Бога, в себя, друг в друга и в свою страну.

Глава четвёртая

Отец Василий долго восстанавливал здоровье после тюрьмы, а вот сейчас, в начале войны чувствовал себя если не так, как до ареста, то уж, во всяком случае, неплохо. Правда, перед дождём крутило кости в суставах, но их и раньше крутило. Да в грудной клетке нет-нет заколет, зарежет, прямо невмоготу. Но проходит, долго не задерживается боль, хотя тяжесть от неё остаётся, почти постоянно присутствует в теле. А так, слава Богу. Матушка Евфросиния выходила, травками, отварами, любовью да лаской подняла тогда на ноги мужа. И ещё доктор Дрогунов Павел Петрович не оставлял без внимания деревенского священника. Вот уж кто, по мнению батюшки, заслуживает самых высших похвал за преданность своему делу, за уважительное отношение к человеку, за величайшее мастерство и профессионализм, так это потомственный лекарь, потомок земских врачей Павел Петрович Дрогунов.

Потихоньку возобновились богослужения, и прихожане стали чаще посещать церковь. Знать, не смогла власть отлучить, отучить от веры Христовой народ, и это тоже радует настоятеля храма в Слободе. Да и как оно может быть по – иному, считает он, если эти люди, прихожане, веками впитывали в себя веру христианскую, а тут вдруг решил кто-то отучить?! Так не бывает. Это противоречит не только всем законам психологии, но и сама вера Христова настолько сильна, потому как правда она, отражающая истину Господню, и суть есть народа православного, ведущая его по жизни от рождения и до самой смерти. А разве ж это можно убить, выветрить из памяти народа, из плоти и крови? Не – е-ет уж, крепка, вечна вера во Христа!

Батюшка отмечал каждый раз, переступая порог церковки, что количество прихожан увеличивается. Всё больше и больше приходят людей молодых. Это радует старого священника. Значит, крепок духом народ наш, устоит и в очередное лихолетье, коль обратился за помощью к Богу. И сам отец Василий не желает оставаться в стороне от народного горя, отделять себя от своей паствы. Какая судьба выпала на долю прихожан слободской церкви, такую судьбу разделит с ними и настоятель этого святого храма. Вера Христова сплотила, соединила самой крепкой связью, порвать которую никому и никогда не удавалось и не удастся.

С Богом в душе легче будет и на поле брани противостоять врагу, а уж придётся умереть за Родину, за веру христианскую, так Господь примет их, воинов православных, как ангелов-спасителей земли русской, церкви святой, обеспечив царствие небесное и память вечную благодарных потомков. Только сообща, вместе, с верой во Христа в душе можно и нужно встать против иноземцев. Только так и никак иначе!

Всё чаще вот такие проповеди читал батюшка перед паствой и видел, как зарождается в их глазах огонёк надежды, огонёк веры в светлое будущее, в победу над супостатом. Прихожане искренне верили своему священнику, верили в Бога, в свою Родину, верили в себя, в свои силы и возможности. Уходили со службы окрылёнными, ещё больше уверовавшими в победу добра над злом. И вселял им в души эту веру отец Василий – настоятель небольшой сельской церквушки, что стоит на перекрёстке дорог на границе России и Белоруссии.

Всё чаще и сам батюшка стал припадать на колени перед ликом Господа. Вот и сегодня он стоял на коленях, шептал молитву во спасение Отчизны, вымаливал у Всевышнего победу над ворогом земли родной.

– Спаси, Господь, людей Твоих и благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой Креста Твоего святую Церковь Твою.

А чем ещё мог помочь Родине православный батюшка, бывший полковой священник Старостин Василий сын Петра? Только молитвой святою, только обращаясь к Богу за помощью одолеть врага земли русской. Сам-то вряд ли сможет, сила не та, да и сан не позволяет брать в руки оружие. Хотя, если придётся, то православный батюшка сделает выбор, примет

решение... И свято верит, что ни Господь Бог, ни церковь не осудят его строго в выборе благородной цели освобождения родной земли... в выборе средств этой борьбы...

Как себя помнит, он безумно любил и любит Родину, хотя она к нему не всегда относилась милостиво, с пониманием. Но он и не в обиде. Это его Родина, его страна, и он будет молиться неустанно во спасение её, будет делать всё, что в его силах, чтобы снова воспаряло, восстало из пепла и тлена его Отечество. Зажмёт, уничтожит в себе гордыню свою, все обиды на него, что по слабости духа могли забраться в православную душу, притаились там, и будет приближать победный день над супостатом, над ворогом иноземным молитвами, а потребуется, и делами своими.

– Господи Иисусе Христе, Боже наш! Прими от нас, недостойных раб Твоих, усердное моление сие и, простив нам вся согрешения наша, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздаждь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их неверных ко правоверию и благочестию, верных же во еже уклоншися от зла и творит благое. Нас же всех и Церковь Твою Святую всесильною Твоею крепостию от всякаго злаго обстояния милостивне избави. Отечество наше от любых безбожников и власти их свободы, верных же раб Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из нетления живот их.

Подаждь же мир и тишину, любовь и утверждение и скорое примирение людям Твоим, их же Честною Твоею Кровию искупил еси. Но и отступившим от Тебе и Тебе не ищущим явлен буди, воеже ни единому от них погибнуть, но всем им спастися и в разум истины прийти, да вей в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливodusне, незлобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Батюшка закончил молитву во спасение Отечества, встал с колен, долго, слишком долго выпрямлял своё не очень гнущееся тело, направился домой. На выходе остановился, осенил крестным знаменем храм, глянул на шоссе, тяжело вздохнул. А тяжело вздыхать были причины... более чем веские...

Как и вчера, и позавчера всё идёт и идёт немецкая техника в направлении Москвы. Идут танки, тащат пушки тягачи, едет в открытых машинах пехота. Священник прекрасно понимает, что вся эта силища направлена против его Родины, против его народа, его соплеменников, единомыслителей. И сердце старика обливается кровью. Если бы мог, он бы лично принял на себя все муки, все страдания, только чтобы остановить эту бесконечную немецкую колонну, избавить родную страну от иноземной скверны...

Иногда машины останавливаются, берут воду в колодце, что у дороги недалеко от церкви. Тогда солдаты резвятся, обливаются водой, играют в мячик на обочине, на лужайке, что между дорогой и церковью.

Несколько раз подходили и к нему, отцу Василию, просили сфотографироваться вместе на фоне церкви.

Высокий, стройный, широкоплечий, сильный, с огромной аккуратно подстриженной седой до пепельного цвета бородой, с умными, пронизательными глазами на широком, открытом лице, батюшка воистину воплощал в себе былинную силу и мощь русского мужика. Мужика, способного и работать без усталости, и схитрить, где надо; и повести за собой на врага войско; и взять ответственность не только за себя, но и за страну; готового за веру и Родину положить жизнь свою. В его внешнем виде, в облике чувствовалась истинная сила русского человека, которого испокон веков и боялись, и уважали друзья и недруги.

В строгом чёрном одеянии православного русского священника он выглядел исполином, статуей, живым памятником. Это интуитивно понимали враги – немцы, и потому им льстило сфотографироваться с побеждённым исполином. Это поднимало их вес, их роль, их значимость в войне в собственных глазах. Как же, смотрите и любуйтесь, Гретхен с маленькими

Куртом и Кетти в фатерлянде, какой сильный ваш муж и папа, что победил такого русского священника, русского мужика! Как бы не так!

– В аду вам гореть, в гиене огненной мучения принимать, – ворчал тогда батюшка, отказываясь от приглашения. – Ещё чего не хватало: я и вороги мои на фоне церковки, святого храма Христова?! Нет уж, дудки, антихристы! Прости, Господи, за упоминание дьявольского отродья в Твоих стенах. А вот на вашей могиле с превеликим удовольствием сфотографируюсь! Из гроба восстану, если что, но воистину возрадуюсь вашей кончине! Сам картину напишу, наمالюю маслом вашу погибель на огромном холсте, развешу в церковке и буду ежедневно любоваться!

– Ты на кого, отец родной, бранишься? – матушка Евфросиния встретила батюшку у калитки, стояла, скрестив руки на груди.

– А ты как думаешь, матушка моя? – лукавые огоньки зажглись в поблекших глазах священника.

– Небось, кончину антихристам предрёк? – улыбнулась и старушка.

– Вот за что я тебя любил и люблю всю жизнь, Фросьюшка, – загудел польщённый батюшка, – так это за твоё умение думать, как я. И как это тебе удаётся, радость моя?

– Вот уж невидаль, – отмахнулась матушка. – Сколько мы с тобой живём? Да за это время нехотя, даже без любви изучишь вдруг дружку. А уж если с любовью, с уважением относиться, так и думать будешь, как любимый человек, даже дышать, как он станешь.

– Спасибо тебе, Фросьюшка, – священник наклонился, прижал к себе маленькое, худенькое тело жены, поцеловал в платок, в темя.

– Спасибо, – почти выдохнул из себя, настолько умильно и елеем на душу прозвучали слова матушки.

Старушка засемила рядом с высоким отцом Василием, в очередной раз безнадежно пытаясь подстроиться под его широкий шаг.

– Вот так всю жизнь спешишь и спешишь, батюшка, – незлобиво ворчала на мужа. – Не угнаться за тобой, отец родной.

– Подрасти! – шутил по привычке священник, положив на плечи любимой женщины огромную ручищу. – Подрасти и уравнишься.

Заканчивали обед, как в дверь постучали.

– Петя? Пётр Пантелеевич Сидоркин? – перед батюшкой стоял бывший сокамерник по тюрьме сын председателя колхоза в Вишенках Пантелея Ивановича Петр.

– Ты ли это, сын мой? – вопрошал священник, глядя на исхудавшего, тощего, кожа да кости, молодого человека, который всячески поддерживал отца Василия когда-то в тюремной камере.

– Я, батюшка, я. Вы не ошиблись. Из тюрьмы сбежал.

Уже за столом, после тарелки наваристого борща, рассказал свою историю Петро Сидоркин.

Его освободили из тюрьмы вскоре после отца Василия, может, через месяц, не позднее. Отпустили без объяснений. Сказали: «На выход, с вещами!».

Домой в Слободу не поехал: и стыдно было смотреть землякам в глаза, и обида гложила, что когда-то исказили его слова о расстрелянном дяде, донесли. Хотя и вины за собой не чувствовал, но... не поехал. А сильней всего боялся за отца, Пантелея Ивановича, который в то время уже работал председателем колхоза в Вишенках: не навредить бы ему, младшей сестре Ольге, маме...

Остался в районе, устроился на работу золотарём, чистил общественные туалеты по ночам. А что делать? Деньги, что зарабатывал на чистке отхожих мест, не пахнут, а они ох как нужны были: ведь он к тому времени женился ещё до ареста. Один за другим родились двое ребятшек: сынишка и дочурка. Кормить надо, содержать семью надо, а на работу не прини-

мают. Клеймо врага народа, куда деваться? Только в золотари. Пошёл. А до этого обежал не одно предприятие, и везде отказ. Вроде и рабочие нужны, и места есть, а руководитель в лучшем случае молча разведёт руками. В худшем – даже не разговаривали, сразу же указывали на дверь. Осталась единственная работа – чистить туалеты по ночам. Но ничего, смирился. А куда деваться? Сначала вроде как было трудно, гадко, стыдно, но потом привык. Человек ко всему привыкает.

Всё вроде наладилось, худо-бедно зажили семьёй, и тут вдруг приходят средь ночи опять! Прямо на работу!

– Да-а, НКВД – это ночная команда, – заметил отец Василий. – А дальше-то что? Что на сей раз?

– О – о, что дальше? – продолжил Петр. – Стыдно и обидно дальше, батюшка. Рассказывать стыдно, а мне пришлось пережить. А уж как обидно, так обидно, что не высказать, не выкричать.

Полгода назад, по весне, вёз золотарь Сидоркин содержимое туалетов. Дело уже ближе к утру. И надо было отвалиться заднему колесу от телеги с бочкой! И где?! На площади, напротив райкома ВКП (б)! А содержимое возьми да расплескайся! И прямо на мостовую! Немного, небольшое пятно, однако... Постовой милиционер заметил, учуял сразу и всё: под арест. Не дали даже забежать домой, сменить одежду. Так и пришлось первое время в камере сидеть в рабочей спецовке, пока почти через месяц жене разрешили передать хоть что-то из одежды.

А в ту ночь отвели в НКВД, начали доказывать, что это специально сделал золотарь Сидоркин, так отомстил власти, райкому партии. Припомнили первый арест, расстрел дяди Николая Ивановича.

Мол, мстит за родственника... И снова не стали разбираться, арестовали тут же, не выходя из НКВД.

Вот и сидел до последнего в тюрьме, пока немцы не стали бомбить райцентр, да не возникла возможность бежать.

В забор, что вокруг тюрьмы, попала бомба, проделало взрывом брешь. Конвой попрятался, так арестанты – кто куда. И Петро тоже. Правда, никто не кинулся следом, не ловили.

А потом немцы заняли райцентр почти без боя, а дальше – пришёл Петя на свою родину, в Слободу, поселился в родительском, ещё от дедушки остался, доме. В деревне легче будет выжить, переждать лихолетье. Как-никак, а огород, сад и всё такое...

– Я зачем-то зашёл к вам, батюшка? – Сидоркин нервно мял в руках шапку. – Не знаю даже, как начать, с чего.

– А что первое на ум пришло, то и говори, – пришёл на помощь священник. – А там видно будет: что главное, а что второстепенное.

– В полицию собрался. На службу к немцам, – произнёс чеканными словами, будто боясь остановиться, не досказать до конца.

– Так-так, я слушаю, – отец Василий усилием воли сдержал себя, не показал удивления, хотя далось это с трудом. – Что так? Другой работы нет?

– Вы меня неправильно поняли, батюшка, – Пётр всё же смело глянул в глаза собеседнику, заговорил быстро, стараясь убедить в своей правоте, в правильно выбранном занятии.

– На меня все смотрят, как на врага народа. Но я не враг!

Понятно? Не враг! И вы это знаете. Но меня сажали в тюрьму, не брали на работу в мирное время, не возьмут и в свою компанию уничтожать врагов, немцев бить на моей земле вот сейчас. Я знаю, что организовываются партизанские отряды в округе. Но меня опять не возьмут с клеймом врага народа. А как мне быть? Так и сидеть, молча смотреть, как уничтожают моих земляков, издеваются над ними, топчут мою землю?! Но я не такой, отец Василий! Слышите, я не – та-кой! Я буду бороться, бороться, сколько мне хватит сил, буду уничтожать немецкую сволочь!

– А почему полицаем, Петя? – батюшка, как и прежде, старался сохранять спокойствие. – Что, другого способа нет?

– Я всё обдумал, батюшка. Всё обдумал. С моей биографией мне легче устроиться к ним на работу. И уничтожать их буду изнутри, их оружием. Мне так проще будет. У меня сейчас нет ни оружия, ничего. Только желание и страшная ненависть к врагу. И всё.

– А я причём? – и на самом деле отец Василий так и не понял своей роли в этом деле. – А я причём? – повторил свой вопрос.

– Благословите, батюшка. И будьте единственным свидетелем истинного лица полицая Сидоркина Петра Пантелеевича. Я знаю, что будут думать, и как ко мне будут относиться родные и знакомые. Но вы знайте правду. Я – не враг. Я – патриот! Я люблю свою Родину. Об этом будет знать только один человек – вы, батюшка. Так безопасней для меня, надёжней, никто не выдаст. А уж я сам...

– Обиделся, значит, – тихо спросил отец Василий, положив руку на плечи собеседнику.

– Да, и обида есть. Но я докажу, что я – не враг!

– А как же родные в Вишенках? Насколько я знаю, отец твой ушёл добровольцем, а мама и сестра? Как они отнесутся к такому решению? Как жена, дети?

– На вас уповаю, батюшка. Будьте тем связывающим звеном, что удерживает связь между мной, полицаем Сидоркиным, моими истинными помыслами, и моим народом. Расскажите после победы, если вдруг что со мной случится, кем был враг народа Сидоркин Пётр Пантелеевич. Я докажу, докажу всем, кто я есть на самом деле. Я люблю Родину, предан ей, а они... они меня... в дерьмо в буквальном смысле слова. И – э-эх! – столько отчаяния и решимость было в его словах, в тоне, их произносившим, что священник сразу же и безоговорочно пове-рил своему гостю: не отступит. Даже если вот сейчас батюшка попытается отговорить парня, убедить в обратном, всё равно Пётр сделает по – своему, так, как он уже надумал. И видно сразу, что решение это не сиюминутное, а выстраданное, выношенное не один день, созрев-шее давно. Переубеждать в таких случаях бесполезно. Да и не стоит...

– Вы ещё услышите обо мне, батюшка.

– Что ж, – отец Василий встал, встал с ним рядом и Пётр Сидоркин. – Принять такое решение может только мужественный человек. Я верю в тебя, Пётр Пантелеевич. Благослов-ляю, сын мой, на дело святое, благодное, на защиту Отечества, – сотворив молитву, перекре-стил мужчину. – С Богом! Да хранит тебя Господь!

«Вот оно как получается, – после ухода Петра, батюшка прилёг на кушетку, вытянул натруженные за день ноги. – И что только не делала недалёковидная власть, как только не изгалялась над народом, а он вон какой, народ этот. Это же золото, а не народ. Сталь. Кремень. Любовь к Родине не выбить кулаками, как и любовь к матери. Если ты истинно любишь мать, то будешь любить её всякой: скандальной, не всегда правой. Наверное, Родина, как и мать, может ошибиться, имеет права на ошибку. А мы, дети её, должны остаться преданными своим прародителям. Да-а, вон оно как получается.

А друг мой, товарищ верный Щербич Макар Егорович?! Каким же был патриотом, как любил деревеньки наши! Канул, сгинул где-то...» – мысли начали путаться, исчезать, и старик уснул.

Матушка тихонько убрала со стола, вышла, прикрыв дверь.

За отцом Василием немцы приехали на мотоцикле.

Солдат, зайдя в дом, не очень вежливо обошёлся со стариком, грубо подняв его с кушетки, буквально сбросив на пол.

– Aufstehen! (Встать!) – расставив ноги, навесив кисти рук на автомат, немец с презре-нием смотрел, как поднимался священник.

– Schnell! Schnell! (Быстро!)

Батюшка выпрямился, оправил одежду, стряхнул невидимую пыль, и только после этого взглянул на солдата.

И столько презрения, ненависти и гнева было во взгляде священника, что солдат отступил шаг назад, взял автомат на изготовку.

– *Gehen, gehen!* – повернул батюшку, подтолкнул автоматом в спину.

Во дворе матушка Евфросиния кинулась к мужу, обхватила руками.

– Куда ж они тебя, отец родной? Я – с тобой! – решительно сказала старушка, встала рядом с мужем.

– *Fort!* (вон!) – солдат грубо оттолкнул женщину, что та не удержалась, упала на землю, поползла вслед.

– Ты что делаешь, антихрист? – священник с кулаками кинулся на солдата, но тот лишь вдруг громко рассмеялся, с силой усадил старика в коляску.

Мотоцикл остановился у здания бывшей средней школы.

Комендант, высокий стройный светловолосый майор Вернер Карл Каспарович, величественно говорил по – русски, вышел навстречу батюшке, взял под локоть, повёл в кабинет.

– Не удивляйтесь, святой отец, – приветливая улыбка застыла на лице коменданта. – Я родился и вырос в Санкт-Петербурге, так что...

– А помимо русского языка там не учили вежливости? – отец Василий ещё не мог прийти в себя после столь бесцеремонного обращения солдат с собой и матушкой Евфросинией. – Я тоже имел честь учиться в этом святом граде. Воспитанные люди уважают стариков и в России, и в Германии, не так ли?

– Простите! Что поделаешь? Победители ведут себя чуть-чуть не так, как побеждённые. Чуть-чуть иначе. Или вы со мной не согласны? Тем более – солдаты. Что с них возьмёшь? Знаете ли, победный дух пьянит, вы не находите?

– Вы о каком победителе, милейший, ведёте речь? Кто здесь победители? – не сдержался, несколько в грубоватой форме переспросил священник.

– О – о! А вы, батюшка, смелый человек. Правда, на вашем месте я бы не стал делать столь опрометчивые заявления.

Комендант встал, прошёлся по кабинету, остановился у открытого окна.

По улице два солдата вели корову; проехал мотоцикл; где-то прогремел сильный взрыв, эхом отозвался в пустых стенах бывшей школы, замер, растворился в летнем мареве.

Отец Василий продолжал сидеть, внимательно наблюдая за хозяином кабинета. Начищенные до зеркального блеска сапоги майора поскрипывали при каждом шаге, впечатывали каждое слово в сознание гостя, возведя их в ранг истины в последней инстанции.

– Вы – очень смелый человек, но это не даёт вам право даже опосредованно сомневаться в нашей победе, в победе великой Германии. Вас могут неправильно понять. Вам не страшно? – майор повернулся к гостю, глянул пронизывающим насквозь взглядом. Его голубые, с холодным блеском, глаза, застыли на лице священника. Офицер стоял, слегка покачиваясь на носках.

Батюшка поёжился, но взгляда не отвёл, продолжая спокойно сидеть, даже, для пущей вольности, закинул ногу за ногу. Он как никогда отчётливо понял, что за кажущимся гостеприимством, за напускным радушием перед ним находится страшный человек, враг, да такой враг, что пытки в тюрьме при советской власти будут казаться детскими шалостями, детской забавой. Дуська-пулемётчица с её «апостолами» Петром и Павлом рядом не стояли с этим человеком, что по – хозяйски снова стал расхаживать перед священником.

Сейчас важно было сохранить хорошую мину при сложной игре. Сила на стороне майора, грубая физическая сила на его стороне. И преждевременно нарываться на грубость, скандал, на скандал со смертельным исходом отцу Василию было не с руки. Священник и в лучшие годы не страдал безрассудством, когда врывался в толпу орущих и дерущихся сельчан, разнимая сошедшихся стенка на стенку жителей деревень. Это только несведущему человеку поступок

батюшки в тот момент казался безрассудным. Но это не так, далеко не так. Там он хорошо знал и тонко чувствовал психологию русского деревенского мужика, и действовал сообразно обстановке. В тех драках принимали участие свои люди: соседи, знакомые, прихожане... И отец Василий для них был «своим». А вот здесь в бывшей средней школе он просто обязан проявить в высшей степени благоразумие. Перед ним вышагивает враг. Враг не только его, Старостина Василия Петровича, но и враг его страны, враг его Родины. А разговор с врагом в этих непростых и неравных условиях требует от него, деревенского батюшки, очень тщательного, хорошо обдуманного отношения к собственным словам, поступкам.

Гость это понимал и потому попытался сгладить свою дерзость, но сгладить таким образом, чтобы самому не оказаться в мерзопакостной роли испугавшегося, ничтожного человека. Священник знал себе цену! И знал, что правда на его стороне, значит, и сила тоже.

– Да-а уж. А что остаётся мне в моём возрасте? Хотя, есть мудрая немецкая поговорка, надеюсь, вы её знаете: «Von einem Streiche fällt keine Eiche».

– Вот как? От одного удара дуб не валится? Откуда такие познания в моём родном языке? И, главное, какое чистое произношение?!

– Вы мне льстите за произношение, но я немножко знаю немецкий язык, постигал его в молодости с великим удовольствием. У меня были в друзьях ваши соотечественники, так что... – отец Василий видел, как был поражён майор его чистейшим немецким. – Не все же здесь варвары, как вы думаете? И потом. Я получал образование в Питере. Это о чём-то да говорит.

– Ну – у, русское духовенство всегда было на высоте в плане образования.

– Кстати, Вернер Каспар Рудольфович вам не знаком? Это случайно не ваш родственник?

– А что такое? – напрягся сразу комендант, почти подскочил к гостю, наклонился над ним.

– Вы не ответили на мой вопрос, – батюшка продолжал хранить завидное спокойствие.

– А кем работал ваш Вернер Каспар Рудольфович? – снова вопросом на вопрос парировал майор, взял стул, сел рядом с отцом Василием. – Да, моего папу звали Каспар Рудольфович.

– Мой хороший товарищ Вернер Каспар Рудольфович был меценатом: оказывал посильную помощь военному госпиталю в Санкт-Петербурге, в котором я залечивал раны после японской компании. Часто приходил в палаты к раненым лично. Вот там мы с ним и познакомились, а потом и подружились. Он работал где-то в торговле, поставлял мельничное оборудование в Россию из – за границы, – священник замолчал, сложив руки на груди, смотрел на хозяина кабинета.

– Та-а – ак, это уже интересно, – комендант ещё ближе подвинул стул, откинулся на спинку, улыбнулся. – А дальше что?

– Дальше? Меня выписали из госпиталя, мы с матушкой уехали из Санкт-Петербурга, и наши дороги разошлись. До октября 1917 года ещё поддерживали отношения через письма, а потом перестала работать почта, началась такая смута на Руси, и мы потеряли связь друг с другом, хотя я потом несколько писем отправлял по старому адресу. Но... – батюшка развёл руками. – Ответа так и не получил.

Майор подскочил со стула, возбуждённо забежал по кабинету.

– Земля, оказывается, круглая и такая маленькая, что я прямо не знаю... Это мой отец! Стоило прибыть в Богом забытую деревню Слободу, чтобы узнать о своём отце. Вот уж никогда бы не подумал... Да-а – а, дела-а – а! Всё-таки, удивительная жизнь! Как всё переплетено, завязано... А я и не знал, что мой покойный отец был меценатом. Да-а – а... Как всё загадочно...

– Как он? Где теперь милейший Каспар Рудольфович? Как себя чувствует?

– Умер, умер папа, – майор склонил голову. – Уже в Германии умер в двадцать шестом году. Только год и смог пожить на исторической Родине.

– Царствие ему небесное, – скорбно произнёс батюшка, осенив грудь перстом. – Изумительной души человек был. Истинно русский немец, патриот России до мозга костей, я вам скажу. Скорблю... Редко встретишь человека с такой открытой, доброй душой.

В кабинете воцарилась тишина. Налетевший вдруг шквалистый ветер хлопнул створкой окна, закрыл её, отгородив мужчин от мира за окном школьного кабинета.

Гость продолжал сидеть, Вернер всё ещё расхаживал, поскрипывая сапогами.

И вдруг резко сменил тему разговора, тон в словах коменданта стал твёрдым, начальственным, жёстким.

– Почему вас не расстреляли в тюрьме большевики? Пошли на сотрудничество с ними? Стали агентом НКВД? – перед священником снова был напористый, жёсткий комендант деревни Слобода.

– Хм, – настало время удивляться и гостю. – Хотя, архивы НКВД не успели вывезти, и они достались вам?

– Допустим.

– Не знаю. Как арестовали, так и выпустили. Отпустили умирать, но, слава Богу, выжил, благодаря неустанной заботе жены моей матушки Евфросинии да доктора нашего Павла Петровича.

– Ну, что ж. Это в практике большевиков. Это их стиль. Как относитесь к оккупационной власти? – хозяин кабинета напористо продолжал допрашивать гостя.

И опять пронизывающий, холодный взгляд застыл на лице священника.

– Я признателен за возможность совершать богослужение во вверенном мне храме, – со смирением в голосе ответил гость, склонив голову в благодарном поклоне.

– Надеюсь, вам не стоит напоминать, что вся власть от Бога? Немецкое командование с пониманием и лояльно относится к вероисповеданию на оккупированных территориях. Полагаю, сей факт доброй воли вы по достоинству оцените в своих проповедях, доведёте до паствы? В отличие от большевиков, от Советов, Германия в конфессиональной политике придерживается свободы религий. Прихожане должны знать это.

– Благодарю вас, господин майор, – батюшка уже понимал, что его приглашение к коменданту носит вполне практичный характер. Немецкое командование пытается через церковь, через священников добиться большей лояльности местного населения к себе, к оккупационной власти.

Ну, что ж. Надо ответить так, чтобы у майора не осталось сомнений.

– Добродетель всегда останется добродетелью, и уж коль она есть, то она не нуждается в дополнительных усилиях быть замеченной, по достоинству оценённой прихожанами. Добро, как и слова Божьи, всегда найдёт дорогу к свету и войдёт в души людей беспрепятственно.

Майор остановился у окна, покачивался с носка на пятки, заложив руки за спину.

Где-то опять прогремел взрыв, отзвук которого ещё раз подчёркивал, что не всё так спокойно за стенами бывшей средней школы.

– Реалии таковы, что мы живём в военное время, – в подтверждение взрыва начал комендант, повернувшись лицом к гостю.

Батюшка тоже встал, не сводил взгляд с мерно расхаживающего хозяина кабинета.

– Только из уважения к вам, отец Василий, напоминая, что всякие контакты, всякая помощь красноармейцам, комиссарам, евреям запрещена. Вы знаете об этом?

– Да, знаю.

– Надеюсь, и знаете, чем грозят последствия непослушания, неисполнения приказов немецкого командования?

– Да, знаю. Расстрел.

– Тем лучше, что вы всё знаете. Верю, что вы – человек благоразумный, и мы с вами подружимся.

– Да, господин майор. Истинная вера только укрепляет души людей.

– Не смею больше вас задерживать, – комендант проводил гостя до дверей. – И всё-таки, батюшка, настоятельно рекомендую верить в могущество Германии, – уже стоя на крылечке, не преминул напомнить майор.

Священник не ответил, лишь сильнее сжал кулаки.

Отец Василий негодовал: как же не знать, если неделю назад он присутствовал на казни, расстреле безоружных, безвинных Корольковых, целой семьи. Видите ли, оказали помощь своим соотечественникам – раненым солдатам. Так под личным руководством самого господина коменданта Вернера расстреляли бедняжек. И он говорит, что учился в Петербурге? Разве могут наши, русские люди дойти до такого, пасть так низко, чтобы вот так, безоружных, раненых... Нелюди это. Знал бы его отец Рудольф Каспарович, руки бы на себя наложил из – за стыда за сына.

Милосердие, сострадание – вот что должно двигать мыслями, чувствами истинного христианина при виде страждущих, нуждающихся в заботе, а немцы что? Это же ужас, это же не укладывается в голове. И они хотят перетащить на свою сторону церковь? Вот уж никогда!

Всю дорогу до дома отец Василий спорил с воображаемым собеседником, доказывал, утверждал свою правоту.

«Им не понять, что вера во Христа и любовь к Родине на Руси неразделимы, неотделимы. Испокон веков они идут вместе, рука об руку: строят, создают и защищают Русь свою единым целым. А тут вдруг где-то в Германии решили по – своему, решили разделить. Да-а, хорошо вы там расписали у себя в штабах, по – немецки грамотно. Но вот этого единения Христа и любви к Родине в душах русских людей, в душах православных, не учли. Значит, вы просто не знаете христианскую душу, душу русского человека. Не на долго вы к нам. Погоним вас гадкой метлой, как самую последнюю погонь, избавимся, как от сатаны, как от нечисти, прости, Господи. Он ещё напоминает о величии Германии. Как бы не так! Рухнет, обязательно рухнет твоя Германия, ломаем! Ты нас не знаешь, господин немец. А Русь... Русь... стояла и стоять будет!».

Матушка встретила отца Василия у колодца, что напротив церкви, у дороги. На её лице отобразилось одновременно и ожидание, и радость встречи, и большое таинство, что выпирало, лезло наружу. Всем этим она готова была поделиться только с мужем, с батюшкой.

– Отец родной! Тебя не пытали?

– Что-то ты, матушка, как будто пуд злата нашла, настолько таинственен вид твой, – батюшка не ответил на вопрос женщины, а обнял жену, прижал на мгновение к себе, балагурил и у самого загорелся взгляд, глядя на такую загадочную матушку.

– Так тебя не пытали? – снова спросила, заглядывая в глаза, пытаюсь по ним понять истинное состояние мужа.

– Хамы, возмнившие из себя победителей, душа моя, вот и все твои страхи, – успокоил отец Василий. – Но что у тебя случилось, открой тайну, радость моя?

– Пойдём в дом, отец родной, там всё поведаю. Как на духу, – заговорчески зашептала матушка, увлекая за собой батюшку.

И уже в доме под большим секретом поведала, поминутно оглядываясь на окна, за которыми группа немецких солдат обливались водой из колодца.

– Сразу после того, как тебя увезли антихристы, прости, Господи, за забором у колхозного сада обнаружила раненых красноармейцев. Тебя ждала, не спрятала, и помощи не оказала, они там маются, тоже ждут.

И на самом деле, за забором, что отделяет небольшой огород при церквушке от колхозного сада, батюшка увидел троих красноармейцев: молодая девушка в защитной гимнастёрке, двоих мужчин. Один из них, что по старше, ранен, другой – азиатской внешности сидел чуть в стороне с автоматом в руках, внимательно наблюдал за священником, не выпуская оружия.

– Батюшка, батюшка! – девушка подалась вперёд, встала на колени, ухватила за плечень. – Помогите, батюшка! Который день идём, товарищ политрук тяжело ранен, от Березины Азат несёт на себе, – кивнула головой в сторону солдата.

Раненый лежал без движений, с застывшим серым от потери крови лицом. Измождённые, усталые лица девушки и солдата звали о помощи без слов.

Отец Василий повернулся, отыскивал глазами немецких солдат с проходивших мимо машин, что толпились у колодца.

– Проследи за мной, дочь моя. На заднем дворе церкви стоит флигель, пристрочка, я пойду туда, подготовлю место. Вы, как только уедут немцы, тихонько пробирайтесь во флигель.

«Вот и вступили мы с тобой в противоречия, господин комендант, – священник перебирал хлам, освобождал места, делал что-то наподобие лежаков. – Да-а, как хорошо и по – немецки грамотно вы распределили наши роли, мою роль, роль церкви православной там, у себя в штабах, в Германии. Какая самонадеянность, какая гордыня! Мол, солдаты-победители имеют право на шалости.

Милый мой! О какой победе ты ведёшь речь? У нас на Руси есть мудрая поговорка: „Не говори гоп, пока не перепрыгнешь“, – а вы уже себя записали в победители, лавры примеряете. И потом, как это я не стану помогать страждущим? Как это должно выглядеть? Скажу им: „Пошли вон! Немцы не велели!“ . Вы хотя бы думали, прежде чем говорить.

Это когда они, русские солдаты, меня, полкового священника, ещё в ту, японскую войну, под Тюренченом, в рукопашной защищали, себя не жалея, а я возьму вот сейчас и откажу им?! Какой бред! Вера во Христа и любовь к Родине у нас в крови, господа немцы. И они неразделимы. И Родина для нас – это вот эти солдатики, и мы их не бросим, не предадим, а спасём, вместе с ними вас, поганцев, изгоним из земли нашей».

Священник ладил топчаны, и в который уж раз за сегодняшний день спорил с воображаемыми собеседниками, а руки своё дело делали. Вот уже готовы что-то среднее между кроватью и топчаном, но батюшка уверен, что красноармейцам будет как раз кстати. Сейчас важно разместить их здесь да послать гонца за доктором Дрогуновым Павлом Петровичем. Без него никак не обойтись, судя по всему. И пригласить его сюда нужно как можно скорее. Для этой цели очень даже подойдёт сосед юродивый Емеля.

Эта пристройка, как и сама церковь, была возведена давно, во времена восшествия на престол последнего царя Российской империи и в его честь. Сложенная из леса-кругляка, она хорошо сохранилась и готова была ещё простоять столько же. Вот только крыша маленько прохудилась, всё никак не доходили руки починить. А сейчас какая крыша?

Сама церковка, хотя и не большая, с одним куполом, без колокола, который сбросили ещё в двадцатых годах, построена в очень удачном месте на перекрёстке дорог у шоссе Москва-Брест. Видна со всех сторон, притягивает взор издалека, и никогда не пустовала. Разве что, когда арестовали настоятеля церкви отца Василия перед самой войной. Тянется народ со всех деревень прихода: Слободы, Вишенки, Борков, Пустошки и Руни. А на престольные праздники всех желающих уже не может вместить в себя храм, толпятся люди даже на улице. Вот оно как...

На следующий день с утра доктор уже был у отца Василия, вплотную занялся раненым политруком Роговым Пётром Панкратовичем. Тяжёлые осколочные ранения и контузия требовали от врача невероятных усилий, незаурядных способностей и профессионального мастерства, что бы поднять, поставить на ноги. Тем более, условия совсем не хирургического кабинета, без инструментов, без необходимого количества лекарств. Однако, мастерство Павла Петровича и неоценимая помощь со стороны матушки Евфросинии, да ещё молодой организм политрука постепенно делали своё дело: раненый шёл на поправку. Примочки, отвары, хорошее питание не проходили даром: через неделю Рогов уже мог сам выходить на улицу справ-

лять нужду, хотя ему ещё помогал передвигаться рядовой Исманалиев Азат. И круглосуточно за ним ухаживала санинструктор Логинова Татьяна.

Со слов красноармейцев, батюшка уже знал всю их историю.

Рогов Петр Панкратович работал в колхозе под Минском парторгом, был призван в Красную армию в первый день войны и направлен политруком в сапёрную роту. Укомплектованная в основном призывниками из Средне-Азиатских республик, она строила переправы, готовила линии очередного оборонительного рубежа, а в большинстве своём помогала тыловым частям перетаскивать продовольствие, боеприпасы.

Вот и в тот роковой день с рассвета немцы взялись за только что наведённую переправу через Березину правее Бобруйска.

Карусель бомбардировщиков, сменяя друг друга, непрерывно бомбили переправу. Командир роты старший лейтенант Мурашов Николай Никитич оставался на том берегу, а политрук с отделением солдат латали то и дело разрушаемую часть настила уже на этом. Вместе с подчинёнными стоя на коленях, пилил деревья, потом тащил их к переправе по болотистой местности, перекинув через плечи верёвку.

Переправлялись остатки дивизии, что отходила с боями из – под Минска.

Вот, наконец, последними прошли артиллеристы, переправили пушку, можно было переходить и сапёром, но в этот момент к переправе прорвались немецкие мотоциклисты.

Рогов с левого берега видел, как расстреливали безоружных солдат, как прыгали те в реку, пытаясь спастись, и там тонули; как кинулся на пулемёт командир роты старший лейтенант Мурашов с пистолетом в руках и тут же рухнул лицом в прибрежный песок.

Когда мотоциклисты въехали на переправу, непрерывно строча из пулемётов, политрук Рогов с остатками роты бросились в спасительный лес, но добежать смог только он один: все остальные солдаты полегли на этом коротком участке болотистой кромки леса.

Немцы вернулись обратно на правый берег, предварительно облив переправу бензином, подожгли.

Ещё какое-то время политрук сидел в лесу, потом решил вернуться на берег к переправе в надежде найти хотя бы кого-то из состава роты. Его влекло именно туда, где он чувствовал свою необходимость, что оправдывало его пребывание на войне.

Он не дошёл до берега, как вдруг перед глазами встала дыба земля. Ни воя снаряда, ни взрыва не слышал, просто столбом взметнулась, поднялась земля, и всё. Больше ничего не помнит.

Очнулся, пришёл в себя от сильной боли в голове, в правом боку, в плече. Увидел склонённое над ним лицо девчонки.

Потом оказалось, что санинструктор батареи Логинова Татьяна должна была уйти вместе с артиллеристами, но её на том, правом берегу попросил командир сапёрной роты посмотреть раненого солдата. Вот она и задержалась, а тут и немцы на мотоциклах. Чудом удалось спастись от расстрела в воронке, но она видела, как на том, и на этом, левом берегу расстреливали солдат, как убегали они в лес. И вернувшегося политрука тоже видела, собралась, было, окликнуть его, уже выскочила из укрытия, чтобы бежать к нему, как прогремел взрыв.

Засыпанного взрывом Рогова достали санинструктор и рядовой Исманалиев, которому тоже удалось уцелеть. Откапали, а он хоть и без сознания, но дышал. Как могла последними остатками бинтов перебинтовала, Азат взвалил на плечи, и вот так они идут уже которые сутки. Политрук иногда приходил в сознание, но больше всего был в беспамятстве, бредил. Несколько раз в деревнях пытались найти врача, но безуспешно. То не было доктора, то люди просто боялись приютить у себя раненых красноармейцев. К этому времени уже вся округа пестрела разбросанными с самолёта листовками с приказом не укрывать врагов Германии...

На третий день пути попали под облаву, уходили обратно в лес. Но с такой ношей уйти было маловероятно. Тогда решили спрятать политрука под кучей хвороста. Однако немецкий

солдат нашёл, обнаружил, и уже вытаскивал раненого за ноги, тогда рядовой Исманалиев, который не ушёл далеко от своего командира, не бросил, а остался сторожить его, топором зарубил немца. Вот откуда у Азата немецкий автомат.

«Да-а, – размышлял над услышанным батюшка. – Вот какие мы, друг дружку в беде не оставим, не бросим. Вишь, солдатик-то, своего командира не оставил на растерзание врагам, не – е-ет! И девчушка-санинструктор молодец: собой пожертвовала ради раненого, С такими людьми не пропадѐ-о – ом! И вместе выстоим, устоим, и, даст Бог, погоним горе-победителей в их родную Германию. Победить они нас решили? Как бы не так! Вот вам, вот!

– священник сунул куда-то в пространство огромную фигу. – Рано хороните нас».

Красноармейцы не раз заводили разговоры о том, что побудут здесь ещё с недельку, и всё: пойдут они дальше за линию фронта, туда, куда зовёт их воинский долг, где будут востребованы Родине, чтобы вместе с Красной армией гнать врага с родной земли.

Батюшка понимал их, одобрял порывы, желания, и готовил продукты в дорогу. Осталось самая малость: не до конца окреп политрук. Ему как раз и требуется неделька, по словам доктора Дрогунова, и тогда Рогов способен будет преодолеть не одну сотню километров.

А тут вдруг к красноармейцам добавились ещё попутчики: еврейская семья раввина Левина – отец и двое ребятишек десяти и одиннадцати лет.

Бегут они из местечка Червень, что в Могилёвской области. Мать не смогла избежать облавы и сейчас лежит где-то во рву за городом вместе с другими евреями, которых расстреляли немцы. А вот отец с сынишкой Мишей и дочкой Ривкой уцелели, спрятались у соседей в погребе. Потом по лесам добрались до Бобруйска к брату Рафаэлю. Но и там долго задержаться не пришлось: по городу пронеслись слухи, что немцы стоняют евреев в какие-то особо охраняемые районы. Раввин Авшалом Левин уже знает истинную цену особой заботы немцев, вот и вынужден был бежать дальше, в Россию. Там для бедной еврейской семьи спасение.

Всё бы ничего, да несколько дней назад дети заболели: дизентерия. Исходят кровью, а отец ничем помочь не может. Страшно это, когда болеют дети, а отец бессилен.

Дочка Ривка уже теряет сознание, сын Миша ещё крепился, но надолго ли?

Отец пытался пристроиться с больными детьми в деревнях, что попадались по пути, так куда там! – боятся люди. По окрестностям столько листовок разбросано да расклеено, и везде за укрывательство евреев – смерть. Несколько раз и сам раввин поднимал эти листовки, читал: всё не верил, думал, что в прошлый раз неправильно прочитал, не так понял. Но где там... Расписано всё так доходчиво, что сомневаться не приходится в неотвратимости наказания. Немцы преуспели в этом деле. Авшалом не раз убеждался во время бегства. И раввин Левин понимает людей, не обижается. Кому охота быть расстрелянным из – за каких-то жалких евреев?

Он и сюда, в церковь, не пошёл бы, да как посмотрит на детей, так у самого сердце кровью обливается. Завшивели, обносились, изголодались, и дочка в сознание не приходит второй день, бредит в горячке. Вот и пришлось идти к церкви, искать защиты, спасения.

Об этом рассказал отцу Василию исхудавший, измождённый, грязный и уставший еврей, что сидит перед ним за плетнём, в зарослях крапивы и репейника. Батюшка присел напротив на корточки, слушал.

Ему было жаль, искренне жаль и вот этого несчастного еврея, его детишек, и его жены, что расстреляли немцы в незнакомом ему местечке Червень. Ему было жаль всех, кто страдал и страдает в это непростое, страшное для страны время. И понимал, что его жалости на всех не хватит, однако кому-то он обязан помочь. Просто сочувствовать, жалеть на словах – это тоже благостное дело. Но надо помочь делом. Каждый по чуть-чуть, один здоровый пусть поможет одному страждущему, и, в общем, мы спасём друг друга, спасём страну. Выстоим в страшные для неё времена. И он это будет делать вопреки и назло холёному, образованному, с прекрасным знанием русского языка коменданту. Потому что так велит его совесть, христианская совесть, мораль, уклад жизни.

Осознаёт ли сам Старостин Василий сын Петра все те опасности, что ожидают его в случае чего? Да! Осознаёт! Но он ещё ярче, отчётливей осознаёт и понимает, что может быть, спасение вот этой жалкой еврейской семьи и есть его, русского священника, настоятеля вот этой церкви отца Василия главное дело жизни? Кто знает, может и так. А даже и если так, то прожил он не зря. Это не только благородное дело, но и дело, угодное Богу. Наверное, в ней, в жизни, важно не просто вести абстрактные речи о спасении всего человечества, а помочь, спасти конкретно вот эту семью, вот этих красноармейцев, что сейчас находятся в пристройке за церковью.

Бойтся ли он смерти? Да, бойтся, но не настолько, чтобы её бояться.

– Хм! – батюшка отвлёкся от мыслей, улыбнулся на первый взгляд несуразности вывода, который только что сделал из своих размышлений. – А в этом что-то есть, – загадочно произнёс, глядя на сидящего напротив раввина. – Так, где ребятки, ты говоришь? Сам доставишь, или моя помощь нужна?

– Не смогу сам, святой отец, сил нет. Ривка не может ходить уже который день, а Миша? Миша сидеть ещё может, вот такие дела, – произнёс дрожащим голосом Левин. Повлажневшие глаза на сером, заросшем, измождённом лице мужчины с надеждой смотрели на священника. – Без помощи не обойтись.

– Веди, добрый человек, – батюшка поднялся, направился в колхозный сад вслед за раввином.

Впереди шёл отец Василий, на руках нёс мальчика; за ним семенил раввин Авшалом Левин с дочкой, которую перекинул через плечо как куль.

Раввина поселил в пристройке вместе с красноармейцами.

Детишек сразу же определил за печкой на кухне, отдав в полное распоряжение матушки Евфросинии.

Та первым делом раздела детей, вскипятила воду, искупала в ночёвах. Грязную, вшивую одежду собрала, сожгла в печи. Подобрала оставшуюся от внуков, положила детишкам у изголовий. Принялась готовить одной ей ведомые отвары, стала поить по капельке больных детишек.

Отец Василий несколько раз поднимался ночью, заходил на кухню, интересовался.

– Как они?

– Слава Богу, отец родной, уснули. Температура спала. Спят хорошо, крепко, значит, организм восстанавливается, слава Богу.

– Вот и хорошо, – смиренно повторял батюшка, и снова возвращался к себе в кровать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.